

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

У Л Ы Б К А

Ш А К Т И



18+

Сергей Соловьев

Улыбка Шакти: Роман

«НЛО»

Соловьев С. Ю.

Улыбка Шакти: Роман / С. Ю. Соловьев — «НЛО»,

Роман, но без ядра, вокруг которого он обычно закручивается. Человек, но не тот, которым обжита отечественная литература. Индия, но не та, которую мы ожидаем. Любовь и обжигающая близость, но через них — стремление к иному. Сложная интеллектуальная оптика при безоглядной, как в детстве, открытости. Рай метафор, симфоническое письмо с неуловимой сменой регистров. Джунгли, тигры, слоны, экстремальный опыт, буддийские пещеры, жизнь с отшельниками, сад санскрита, трансовые мистерии, встреча с королем лесных племен, суфийское кружение речи между Западом и Востоком, но сквозь эту романтическую экзотику — путь к истоку, мерцающему родству с миром. Миром, который начался и пришел в движение от улыбки Шакти. Путь этот драматичен и чудесен. Одиссея письма, плывущая туда, где сторонятся слов. Сергей Соловьев — поэт, один из ярких представителей метареализма. Родился в Киеве, живет в Мюнхене, последние 17 лет путешествует по Индии. Прозу автора относят к так называемому интенсивному письму, в котором «текст затягивает — а потом смыслы и ассоциации ветвятся, расширяются — и чтение приостанавливается само собой, причем закладку хочется поместить не между страницами, а между предложениями. Или между словами» (А. Уланов). «Улыбка Шакти», оставаясь отдельной книгой, составляет с повестью «Аморт» (2005) и романом «Адамов мост» (2013) своего рода трилогию.

© Соловьев С. Ю.

© НЛО

Содержание

Часть 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Сергей Соловьев

Улыбка Шакти. Роман

Часть 1

#1. Паршурам

Тело не лжет. Только оно и не лжет – на всем белом свете. Да и на черном. Одно – на двоих. И не сложить, не понять, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это не страсть, и не любовь даже. Не запах, не кожа, не изнурение глаза, пьющего эту неутолимую нежность и хворь счастья – в каждой чуточке тела, в каждом его изгибе – настолько, что исчезаешь в себе, падая, падая... Но куда? Не в нее ведь. И даже не в это тело, от которого, хоть и виду не подаешь, все дрожит и плывет. А туда, где все началось, откуда растет, именно туда падая – в дни творенья. Где нет еще ни ее, ни тебя, но уже проросло, качнулось и дышит то деревце, то тело, одно на двоих, единое, которое через миллионы лет станет вами – тобой и ею, разойдясь по разным мирам, чужим, убийственно несовместимым. И вместе с тем – таким родным, что все, что есть у тебя – душа, разум, весь строй твоей жизни и опыта – становится перед этим деревцем на колени, отказываясь понимать. Но и жить с этим не могут. Тело не лжет, тело не лжет, – и пятаются от него, и, спотыкаясь, расходятся. И разойтись не могут. Нет у человека ключей к этому. А и были бы – неразрешимо. Потому что не может так быть. Но есть. И дело не в пресловутых двух половинках, сошедшихся в тютельку божью. Не может, чтобы так мистически безначально и навсегда сливались тела, а жизни непримиримо врозь. Не о сексе это, не о подворье тела, а обо всем его мироздании, которое нам непроглядь, и только они, тела, это знают и чувствуют, и во многом – по ту сторону нас. Каким-то божественно гибельным инцестуальным родством. Это – не лжет. Это. А остальное, то есть попросту жизнь, – не примирить, не сблизить. Боже, как она говорила, до чего ж мы чужие, до зубовного скрежета.

Паршурам, Паршурам... Шестая аватара Вишну. Вот он, чудесный, сын мудреца, одного из тех семи великих риши, но не Вьясы, через которого были даны Веда, и мир, неведомый, стал произносимым, а другого. Мать Паршурама как-то загляделась на принца, игравшего у реки со своими женами, и отец, узнав об этом, сказал сыну: убей ее. И сын ее обезглавил. Молодец, сказал мудрец, проси, что хочешь. Вернуть мать, ответил юноша, отирая топор. И воскресили ее, и жили счастливо. Правда, отец недолго. А сын, уже не расстававшийся с тем топором, сотворил потом этот берег, где мы сидим в безлюдном джунглевом храме, рядом с его, Паршурама, мурти, каменным изваянием величиной с ребенка. Три цветка гибискуса на нем – на лбу и на плечах. Кто ж возложил их, никого в округе, кроме птиц и лангуров. День жаркий, за тридцать. Там, за перелеском, океан лежит, тихоня, а тут баньян разошелся рошей, где пять маленьких храмов, как в шалаше живут. Ни души. Лишь лангуры сидят на ветвях, медитируют на заходящее солнце. Серебро шубок, каштановые глаза и длинные черные, словно обугленные, пальцы пианистов.

Нет у нее имени, но и все имена сразу. Вот и замираю с первого шага. Отголосок, выветрившийся в не то чтобы пустоту, шунью, о если бы! В неприхотливую бижутерию жизни? На поверхности – да, наверно. Вот тут-то и ключ лежит, и не будь я так самонадеян, сказал бы: еще один, мнимый. Не в ней. А – за ней. Во всех тех женщинах, кем она была в ее роду, во всех своих ипостасях и именах. И все бы это звучало банально, как можно бы сказать о любой женщине, не будь в ней эти связи и лики так живы, не проступали бы так вдруг и неосознанно для нее самой. Это как местность в тумане: видишь близь, а в промоинах проступает другое,

другие. И среди них вдруг всплывает древнее лицо такой юной красоты... В ней, сквозь ее лицо. Как незримо вдруг пересобранное.

Тая звали ее. Одна из ее родовых линий шла через Запорожскую Сечь к цыганам Венгрии. К ворожеям и ведьмам. К огню и омуту, лесам и дорогам. И песням. Сильная линия, но чуть вдали и вполоборота. Еврейской крови в ней вроде не было. Но в какие-то минуты в ней проступала пугающая своей божественной глубиной и нежностью библейская красота. Большие влажно-темные глаза. Как на ликах богородиц. А через миг – озорные, с озерной искоркой. И с ума сводящий выгнутый рот невозможных губ. Когда чуть запрокидывала голову, глядя вверх и в сторону от тебя, обнажая высокую тонкую шею.

Телу ее было вокруг двадцати пяти, хотя по паспорту вдвое больше. Кожа девочки – до оторопи, везде. И запах – неощутимый, настолько родной. Уткнуться носом в любую ложбинку и жить веки вечные. Или взять в ладони ее лицо – в эти мгновенья совсем несовершеннолетнее – и, обмирая, уйти навсегда. Или уж не знаю каким органом чувств вбирать ее меленький цветочный смех у пределов близости, когда вдруг возносится из себя и ниспадает, вздрагивая всем телом. Смех изумленной печали и жалобной радости.

Худенькая, звонкая, летящая. Переметывающаяся от дерева к дереву. Что-то в ней было и от лесной мавки. С той нездешней, мнимо телесной тягой, которая вынимает душу, а то вдруг исчезнет, как не было. Словно незримой рукой в ней выключается свет, не без ее ведома. Сколько ж раз я натыкался на стены такого несвета. О нет, считанные. А между ними творилось то, о чем молчат.

Нет у меня дома, говорила она, и туфельки негде положить, и платье, которое сшила. И, засыпая, искала ладонью во тьме мою ладонь. Ты мой дом, ты, – и стихала. Чтоб на рассвете идти со мной в джунгли, молча, сопротивляясь страху, пятясь внутри себя, но идти.

Тут неподалеку есть городок, Чиплун называется. Там, на окраине, на высоком холме стоит древний храм Паршурама. И каждый вечер бог Паршурам прилетает туда из Гималаев, где проводит дни. Ровно без четверти восемь. Брамин затепливает лампы в изголовье его кровати у алтаря за балдахином, перестилает постель, кладя каждый раз по две подушки с обеих сторон, поскольку не предугадать, куда головой ляжет сегодня бог. В храме нелюдно, два-три прихожанина. Служба начинается у входа: брамин, поющий голосом басовой струны, служка с факелом и лицом из этого же огня и музыкант с индийским кларнетом. Стоят они вокруг символа Вишну – барельефа большой черепахи на мраморном полу. Такие же вишну живут в храмовом пруду. Выписывают по глади письма. А потом выбираются из воды на гхаты, вдвоем-втроем, но не соприкасаясь, и глядят вверх. За храмом – башня с узкой винтовой лестницей, наверху небольшой зал, там старик у костра, горящего на железном поддоне, рядом с ним два больших барабана, он прогревает их кожу, поглядывая на старые часы на стене, под которыми на шкафу пылится 500-летняя древесная голова Ганеши, а в углу стоит механический эпилептик, выпускаемый в Пуне и рассылаемый по храмам Индии. Нажмешь кнопку, и музыкальные молоточки начинают истошно колошматить на все лады, образуя малостерпимый, но стройный призыв к началу службы. А потом храм запирают, и Паршурам, перелетев через пол-Индии, ложится в свою кровать, а наутро, когда отпирают засовы, его уже нет, но постель смята, и брамин видит, в какую сторону головой он на этот раз спал. Когда-то, еще до людей, он, Паршурам, выбрал этот холм. Как свой дом. Стелил шкуру, ложился, глядел вдаль на океан. Потом возвели храм. Там. А здесь, в этом джунглевом безлюдье, мурти его стоит. И детские каменные штиблетики кто-то ему смастерил и поставил у его изваяния. Да, я знаю, нет никаких изваяний тут, все живое, и бог, где хочет – вошел-вышел, но и остался – всюду, где вышел-вошел. В штиблетах или без.

Волосы у нее ниспадали до поясницы. Но казалось, они могли бы окутать и всю ее целиком. Почти так она и делала, когда где-нибудь в пути мы ложились вздремнуть, накрывалась ими – и от света, и для тепла-уюта. Темно-каштановыми они были, когда мы встретились. А

год спустя, после Индии, стали менять цвет, поначалу на такой предутренный, светящийся, а еще через год – вовсю солнечный. И поверить в это было никак нельзя. Но в ней все могло измениться, не то что волосы или имя. От тех, кто проступал. И когда мы встречались в аэропортах, я всякий раз не находил себе места в ожидании – где она, кто? А потом, уткнувшись друг в друга, стояли долго-долго, трогая, перекладывая ладони – сюда и сюда, там и здесь, прислушиваясь, замирая – ты, ты... Так не бывает, родней не бывает, желанней и... как это сделано, не понять, чтобы два мира, настолько несовместимых, так сошлись – каждой йотой тела, что и ангелу не протиснуться. И через день-другой расходясь по своим мирам, между которыми корчился и обмякал этот рваный проем, где жили, соскальзывая в себя и ловя руки друг друга. И, чудом спасаясь, стихали, обнявшись. Когда все было кончено. И снова встречались в аэропорту.

И отправлялись на край света, и шли, шли по пустынному побережью, оставляя за спиной тот перелетный песок, который пять столетий назад взмыл над Африкой, распростерся над океаном и лег здесь, в Индии, а мы все шли, одни на свете, не считая худенького мальчишки с отцом, забрасывавших сеть с берега и вытаскивавших вместо рыбы морских звезд, шли до самого горизонта, пока не оказались у какого-то полузанесенного песком мусульманского склепа на холме над океаном, и ключник, вышедший из лачуги, молча отпер для нас дверь. Там, в маленьком зале, убранном цветами и огнями, лежал на кровати незримый – как же его имя? – великий суфий, к которому ходил на поклон король Шиваджи. Лежал на кровати с расшитыми золотом подушками и покрывалом, на котором была раскрыта книга, а у изголовья – еще горка книг его времен и стакан воды. Без малого четыреста лет лежит, океан и песок в окошке размером с книгу. Вышли, сели на берегу у перевернутой лодки, голова к голове, ладонь в ладони, утопленные в песок. Так и плыли вдаль. А потом в кузове какой-то попутной таратайки возвращались домой, пели песни, и свернули сюда неожиданно – к Паршураму. Она сидит за храмом в тени, а я с камерой здесь, она слышит мой голос, по ту сторону нас.

Баньян стоит в могучих дредах, целая роща из одного дерева, уходящего в небо и ниспадающего к земле. И, выпрастываясь из нее, вновь прорастает во все стороны света – ни ствола, ни центра, ни верха, ни низа у этого дерева нет, одно переходит в другое, парампара индуизма, священный баньян. Ни конца, ни начала этой древесной мантре. Вот как надо бы писать. Чтобы не было ни начала, ни конца, ни ствола, ни середины, чтобы все во всем – тат твам аси, как говорят Веды, ты есть то... Не зная что. Вот и иди, не зная куда, ты уже там. Там, обойдя все на свете, став им и вернувшись к себе без себя. Трам-пам-пам. И еще одна часовенка с Паршурамом в зарослях, ах что за чудо – он в ожерелье из листьев бетеля, с серебряными глазами и цветком на темени. А над ним – спутанная, как косичка отшельника, рыжая древесная нить, растущая из неба. Приблизить, взойти по ней взглядом – туда, туда, в несбывшееся. И выключить камеру.

Вернулись затемно в нашу рыбацкую деревушку Харнай. Дом наш стоит на самом краю – даже не света, а и не скажешь, чего. За спиной у него – мир, люди, приодетые приметы жизни, все более стихающие на подступах, а перед ним – безмерная голость, океан. И дом, как старый баркас на берегу, днище его облапывает прилив, льнет, но не уносит. В половине дома, обращенной к миру, живет семья рыбака Есвана: жена, сын и три юные дочери, все они спят в одной комнате на полу. А наша – над океаном, раскинутым за окном в изголовье кровати. Можно, лежа на животе, часами смотреть в океан, и особенно в дни его свечения, когда гребни влекут и утапливают изорванное подвечное. А по утрам в солнечной дымке ходят рыбацкие лодки, перешагивая легкие волны.

Пока Тая готовила ужин на веранде, глянул почту, сидя у окна. Письмо от Любы. Перечитал дважды. И третий, прикрыв глаза. Чуткое речевое счастье. Как бы жизнь ни была темна. Мир ведь ходит в нас по горло в небытии. И, не будучи выхвачен речью, во тьму и уходит. Но как, чем – в этом мутном, вязком пространстве косноязычия и лжесвидетельств – высве-

тить его, удержать? Она умела. Как мало кто. Умела перехватывать мир на той его симфонической скорости, к которой мы так редко восходим. И удерживать, называя. И речь светилась от этой точности, сливаясь с миром. Годы, как мы разошлись. Она в Москве. Изредка приезжая, виделся с ней и сыном. Но большую часть года проводил в Мюнхене, переписывались – то смолкая, то подходя слишком близко и обжигаясь. А на зиму отправлялся в Индию, но и там связь наша не прерывалась – просто случалась реже, с Таей ли был я или один. Ответил, переместил в папку, где они жили своей жизнью. Похоже, все меньше оглядываясь на нас.

Вышел на веранду. Тая сидит на коврике у балюстрады, обняв колени, едва различима во тьме, глядя между балясин вдаль на свечение волн. Завтра мы уезжаем – она в Севилью, я в Мюнхен. Сложим наши пожитки в просторный трюм кровати и отправимся в аэропорт Мумбаи, надеясь, что в следующем году вернемся. Надеюсь и всякий раз не веря, но вслух это не произнося. Завтра.

И наступит долгий блуждающий день длиной в бесконечные месяцы – с тихим мюнхенским парком, где каждый вечер раскланиваюсь с лучистой индийской парой – он в тюрбане, она в сари: наместе, наместе... И исчезают со сведенными у груди ладонями. С парком, за которым светятся ночи, скитаются книги, течет Гвадалквивир, падают горькие апельсины в дворик севильского дома, где мы сидим за бутылкой риохи, и счастье, как дождик слепой, и нет нас, расстались, и вновь навсегда, и не утешить, угла не найти, и снова сближение, дороги и страны, и сны в ожидании осени, за которой Москва и, может быть, Индия...

#2. Почта

– Я так радуюсь твоим строчкам, что, бывает, теряю из виду, о чем речь. Но как же за тобой поспеть, скажи на милость? Мы здесь, на земле, опаздываем и стареем. По тому, что ты пишешь, – тебе и не нужна я, не преувеличивай. У нас была хорошая встреча в Москве. И что-то такое чудесно смешное ты сказал на прощанье... Вчера пошли покупать костюм с Лёнькой, по дороге – ты бы видел эту дорогу! – он врезался головой в какой-то металлический ящик на заборе: кровь, и слабость, и бледность – посидели со льдом и перекисью, а он все норовит прилечь, вместо того чтоб ожить, – вызвали скорую. Повезли нас с ветерком в клинику Рошаля. Мореплаватель подложил руки под голову и лежал на носилках очень задумчивый. В больнице зал ожидания – и страшным голосом на всю клинику: пройдите в пятый бокс! Сотрясения не обнаружили, ссадину замазали зеленкой, полюбовались черепом на рентгене и к ночи вернулись домой, событий полны. Это, говорит, была лучшая поездка в моей жизни! Э нет, говорю, дружок, была в твоей жизни и получше поездка на скорой, к врачу-астроному в Гималаях. Ты пишешь: я так мало помню... а жизнь все льется, как вода в квартире, из которой ушли. Ты помнишь лучшее, а другого и не надо. И нет никакого перрона, на котором ты набоковская гувернантка с единственным русским словом во тьме. Я не знала никого, кто бы так полно проживал свое сегодня, думая, что смотрит в завтра или оглядывается во вчера. Оттого и светит во все края – от того, что пишешь, делаешь. И мне всегда хочется пожелать тебе лишь одного: чтобы был счастлив – сейчас, всегда, каждый день. Ты уже в Индии, долетел?

#3. Харнай

С Новым годом, с 5120-м по Кали-юге! Каль, говорят на хинди, то есть завтра. Но в то же время это и вчера. Как у Плотина, писавшего о душах, которые, как амфибии, живут в обеих стихиях – то на этом свете, то на том – по обстоятельствам. Здесь, в Индии, по обстоятельствам, время течет в обе стороны одновременно. Козочка наших хозяев у меня на руках сидит, пожевывая мои брюки. Ешь-ешь, я в Новом другие куплю. А лучше цветок возьми с елки.

Елка наша – три пальмовые ветви, составленные вместе, тримурти. Однажды, находясь в Тамилнаде, я вернусь из джунглей, куда уж вторую неделю ходил к слонам и другим обитателям, и почувствую дикий зуд от сыпи на спине и шее, а Праба, местный фермер и хозяин арендуемого мной домика, увидев, скажет: о, это оленья шерсть! Имея в виду аллергию от шерсти, оставляемой оленями в колючих кустарниках, сквозь которые я целыми днями продирался по жаре под сорок. Эту оленью шерсть на спине, говорит Праба, надо смочить слезами пальмы, и все пройдет. Праба, похожий на смуглого фавна, быстрогого, лучезарно хитроватого, с красавицей женой за плечом и тремя сынишками на хвосте. Поворачивается к дому и кричит: Пушкин! Пушкин! Открывается дверь, выходит Пушкин, заспанный, двадцатилетний, времен Бахчисарая. Лицо, бакенбарды, фигура... Пушкин так на себя не похож, как этот слуга Прабы, из местных племен, адиваси. Так я его и назвал тогда, а вослед и Праба, и полдеревни. Пушкин взбирается на пальму, за поясом у него большой кривой нож – чакку. Ничего не выйдет, говорит Праба, срез надо делать до рассвета, тогда будут правильные слезы, а сейчас не те. Посовещались с Пушкиным, тот сходил за одеялом и, взобравшись на пальму, окутал им ветку, ждет. Как будто ночь. Режь, кричит Праба снизу, уже можно. Расслоил эту трехметровую ветку и прикладывает к моей спине, кропит слезами. Все, говорит, завтра забудешь. Забыл я, правда, недели через две, уже в Мюнхене.

А потом мы встретились с Таей в аэропорту Севильи. Как впервые. И снова стояли, уткнувшись друг в друга, и людская толпа обтекала нас, прибывая, убывая – дни, ночи. А потом спали на полу в доме, где она обустраивалась, затеяв ремонт. Ее доме, который мог бы стать нашим, в возлюбленной ее Севилье, антими́ре Индии, гишпанском сапожке. Домик этот она купила на деньги, полученные при разводе, ее часть. С мужем она разошлась, прожив много лет вместе, обе дочери уже выросли, одна жила в Москве, другая в Питере. Время от времени она созванивалась с ним – дети, деньги, наследство, может, что-то еще, я не слышал, отходил в сторону. В ее дни рождения он слал ей цветы в Севилью. И надеялся, что она вернется. Никогда, говорила она, отворачивая лицо, чтоб я не видел увлажнившихся глаз. Просыпались на полу среди мешков цемента, через нас перешагивали работяги, приходившие на заре и исчезающие к вечеру. Мы умывались из бочки в куцем заросшем патио и шли к Гвадалквивиру. А полугодом спустя вновь оказались в Индии. Там, у Прабы. В райском бунгало у края джунглей. В кухоньке за стеной жил Пушкин. А по ночам на огороды наведывались слоны, которых мы с фермерами гоняли криком и факелами. Мать Пушкина пасла у озера стадо коз, не своих, барина. А сам поэт переживал дневной зной, лежа на кровати с мобильником, переговариваясь с барышнями. По-английски он понимал не много, объяснялись мы больше на пальцах. Однажды, готовя там еду, Тая затеяла напомнить ему написанное. Я помню чудное мгновенье, начала она с черпаком в руке, обернувшись к нему от кастрюль. Передо мной явилась ты. Он внимательно слушал, улыбаясь все шире, кивая в такт. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои. Yes, сказал он, когда она закончила, I remember.

На веранде у нас стоит елка-тримурти из пальмовых ветвей, срезанных в этой рыбацкой деревушке Харнай, рядом с руинами форта короля Шиваджи, о который бьются волны, заодно подмывая и дом Есвана Копотка, потомственного рыбака из касты кои, у которого снимаем жилье в десяти сантиметрах от океана, это толщина стены, отделяющей изголовье нашей кровати от прилива. Срезали с Таей эти ветви, приволокли на веранду и соорудили елку, поставив ее в горшок, обряженный в сари. А потом, взяв с лодок мелкую разноцветную рыбу и несколько пучинных златоустов, развесили на ветвях. Одна – с красной, как с мороза, чешуей и волхвующим глазом – называется рани. Другая – риббон, ею выстилают путь к маяку, сотни тысяч рыбешек сушатся на ветру и солнце, чуть изгибаясь и усыхая: издали – арабская вязь, письмена сверкающего серебра. Третья – с бледно-желтой каймой и хитровато-острым лицом... Забыл, как зовут. Крабы взбираются по елке, как матросы. А на вершине – звезда морская. И цапки цыганские подвязали на нитках. Браслетами мерцает, сережками, цепоч-

ками, как морская царевна. Две козочки домашние ходят, разглядывают, млеют. Флаг индийский полощется. И сотворили напиток бессмертия – сому. Стол наш ломится яствами. А над головой – мешок волшебный на крюке, там дары и записки друг другу. Осталось всего пару часов до Нового, который здесь называют Гуди-падва, но это будет весной. Надеюсь, у нас все хорошо и в ближайшие семь-восемь тысяч лет не изменится к лучшему. Да, Вася? Ешь цветочек. А мы в самую полночь пойдем по этой улочке во тьму – к волшебному окну, стоящему в нигде, и войдем в него, там-то все и начнется. А школьницу мы скоро истомим на огне. Муши, зовут их здесь, этих юных акул. Когда-то и мы с тобой были муши. Он и она. Шьет штанишки мужу. Чтоб не мерз он в стужу.

Так и живем: вот дом, крайний в деревне, за ним мир безвиден и пуст. За оградой, которой нет, руины форта короля, варан на крепостную стену выполз, замер, как свастика. А рядом семья мангустов, мама с детками. Кошка к ним ходит наша в траву желтую нечесаную: кошка войдет – и гуськом мангустами выходит по ту сторону, мангусты войдут – кошкой выйдут. А мы сидим наверху на веранде с балюстрадой, не покрашенной Руши, сыном Есвана, кофе пьем, смотрим. Там козочки домашние блеют, тут наша семья индийская, живущая во второй половине дома: Есван, которого зову папа, хотя моложе меня, Бхарати, жена его, то есть сама Индия. Три дочки у них и сын Руши. Младшая – Дипти, старшеклассница, любимица моя. На день школы сходится вся деревня, костюмированный концерт до трех утра, и перwokлашки там – танцуют и смеются. У стены дома в каменной вазе тулси растет священное, семья дважды на дню пуджу совершает – вначале в комнате, потом во дворе: обходят тулси с благовонными палочками и кокосом с цветами, и несут дары к океану. А там, неподалеку от берега, деревце мангровое зеленеет – то по щиколотку в воде, то с головой, в часы прилива. В нем цапля гостит. И ослепительный зимородок на дереве над крепостной стеной сидит век за веком, следит за рыбой и, зависнув в воздухе, пикирует в воду. Кингфишер, король-рыбачок.

Утром ходил на рынок в гавань, что на местном языке – бандер. Вначале Баблу встретил, он сам себя так называет, потому как непронизимое у него имя – из девятисто семи согласных. Показывал видео в своем мобильном, как у него во дворе отлавливали кобру. Такая изящная двухметровая особь, не агрессивная, хотела уйти – ну в прихожую хотя бы. Не дали, отнесли в лес, выпустили. Баблу. Дом есть, жена, деньги, бизнес, а детей нет. Горе. И в глазах, и в голосе, и в походке. Затем мороженщика встретил. Он из Раджастана, рыжий, хной крашенный, торгует волшебной о десяти сортах ручной выделки, патент и грамотка от правительства. И каждое мороженое с кусочками свежих манго, или инжира, или кешью. Говорит, что у него в родной деревне стоит у дома трактор «Беларусь».

Каль, каль, где ты? Нигде его нет. В отличие от рыбы, а лучшая из них – мороса. Она пришла с мороса. Хотя с виду не скажешь. А еще бобра, с ударением на первом, но здесь произносят: кобра. Черная, глубинная, с недвижным взглядом. На рынке слышишь вдруг как выкрикивает зазывала: кобра, кобра, патчсо рупи! Пятьсот за кило. Но на вершине для нас – тårмоса. Та, что зовут меч-рыбой, а на деле – рыба-парусник. Многометровые. Или поменьше, с человека ростом. Лежат на сером песке под ногами, переступают их, не глядя. А в ходу то, что мы не берем – памплет, вроде мелкой камбалы, и сурмай, типа скумбрии. Тårмоса, дивная рыба, сто двадцать километров в час – под водой-то! То есть в воздухе было бы как у военного истребителя. Зачем ей такая скорость? Никакой необходимости. Чистая избыточность, божья блажь. И лучшее доказательство его бытия. Лежит под ногами. Нос-бушприт, красный глаз и спущенный парус. Могли бы взять, но куда на двоих нам.

Заур, владелец двух рыболовных кораблей, зовет меня: Серджи, пойдем, у меня в лодке муши есть, молоденькие, ты ж любишь. Их редко берут. А мясо нежнейшее, без костей и без запаха. Заур огромен, белый халат, феска и черная длинная борода. Возил нас на остров, договорились, что порыбачит, чтобы мы свободно позагорали, а потом за нами вернется. Вернулся раньше. А мы лежали вдали друг от друга: я на песке у воды, а Тая на скале за мысом. Лежал на

спине, закрыв глаза в полудреме. И вдруг кто-то под голову мне сандалии мои просовывает и полотенцем лицо накрывает. Заур, с отведенным в сторону из деликатности взглядом. И ушел в пустынный заброшенный форт – пересидеть, подождать там. А потом, когда Тая меня с ним фотографировала, он пятерней своей по-отечески нежно расчесывал мне волосы, всклокоченные на ветру.

Или Адам. Так его и зовут, сухонького старика с беззащитно удивленным лицом ребенка ветхих лет. Мусульманин, живущий в землянке, в маленьком земляном гробе, с зеркальцем и нехитрым скарбом, уместающимся в двух ладонях. Бос, в длинном до пят хитоне. А пальцы перебирают вечные четки, и губы все что-то шепчут с блуждающей улыбкой – деревьям, дороге, спинам людей. А неподалеку в большом нарядном доме живет сын с молодой женой и мать, жена Адама. Что ж ты, сукин сын, говорю я сыну, позоришь мою родину, отца родного в могиле живьем содержишь, ешь сладко и спишь на белом? Адам приходит на следующий день, в глазах слезы: не надо его корить, мне хорошо там, на свободе. Он подрабатывает слегка, ходит с ведерком, красит, кому что надо. Научил его ровные филенки проводить, а то он от руки вел их, как создатель мира. А потом подрядил красить стены в тех номерах отеля, где друзей своих потом размещал. Он все с торбочкой своей не расстается, там среди прочей мишуры – выцветшие открытки от иностранцев, с которыми ему довелось познакомиться – может, лет пятьсот назад, во времена Васко да Гама...

Или в ближнем городке Даполи. Что-то нам нужно было там – не интернет ли, в рыбацкой нашей деревне он аховый. И зашли по пути в офис районного егеря. И пока жена его нам готовила чай, он рассказывал нам недавние истории из лесной своей службы. На прошлой неделе, говорит, леопард свалился в кита... В кита? – переспрашиваю и думаю: ну невозможно ведь, но черт его знает – это же Индия, ну выбросился кит на берег, ну, наверное, начал разлагаться, и вот безлунной ночью подходит леопард, взбирается на эту тушу и, оступившись, валится в левиафанову бездну... Да, говорит, воодушевляясь, опустили мы клетку в кита на двенадцатиметровую глубину, а леопард там, на дне кита, не хочет в нее входить, запрыгнул на нее и стоит. И никто не знал, что делать теперь. И тогда я придумал: поджег тряпку и спускаю ее на веревке прямо на него, и леопард – ап! – и прячется в клетку. Невероятно, говорю, не зная, что и думать. Леопард, в ките, на двенадцатиметровой глубине, с горящей тряпкой на голове, и лесники, стоящие наверху на туше у этой дыры... Да, говорит, именно так, две недели назад, неподалеку от вашего Харнай. Оказалось, не в кита леопард свалился, не в whale, а в колодец – well.

Можно было, конечно, и не акулу, а ската взять. На местном языке его называют ваг. Он – ваг, а она, надо думать, вагиня. Чистить не надо, кожа у них как у маслят и чуть липкая. Просто отсечь длинный шнуровидный хвост, затем вынуть внутренности, а их, на удивление, с гулькиным нос, и вообще – живота почти нет, как и, наверно, положено ангелам. Промыть – и класть на сковороду. Хотя местные совершают еще вереницу нейрофизических процедур. Делают, например, два длинных надреза вдоль позвоночника и витиевато удаляют его, затем обрезают края у крыльев и выпиливают мистический треугольник у основания хвоста. Но мы до этого не смели возвыситься.

Тут, в Харнай, на обочине главной улицы, есть мусорная свалка, не убиравшаяся лет двадцать, наверно. Рыбацкая деревня, океан – задний двор ее, рабочий, он же отхожий – уж тысячи лет. А рядом, в нескольких километрах – другая деревня, не рыбацкая, там землю руками моют, чистота звенящая. Те же люди живут, родственники здешних, братья и сестры их, отцы и дети. Там – приемный покой, здесь – рукопашная жизнь: алмазы с грязью, вонь и амрита. Не сдержался, нашел у соседей грабли, взял фонарь и пошел в ночное. Рядом коровы на ночлег укладывались, с изумлением на меня глядя. Ну и редкие прохожие с не меньшим. Потом Руши, сын Есвана, красавец, похожий на индийского Фредди Меркьюри, с лопатой пришел. Хоть и позор это, домашние его не пускали. Потому как ломка устоев, убирают неприкасаемые,

если уж до того доходит. И дело не в отношении к среде, в Европе в прежние времена было уж точно не чище. Тут коровы все подъедали, пока мусор съедобен был, а не пластиковый. А население – за миллиард, не так легко в одночасье все изменить. Но и не столь уж сложно, как оказалось: в Мангалоре, почти миллионнике, поставили баки, ввели штраф, и за месяц город неузнаваем. Собрал на разговор хозяев домов на нашей улице, план придумал. С большим сочувствием слушали. Разгребли мы с Руши эту свалку. Через месяц, правда, все вернулось на круги своя.

А в тихой глубине деревни, где уже не рыбаки живут, а совсем другой мир, стоит неприметный храм, где каждую субботу в десять вечера собираются друзья с соседних улочек – брамин, зеленщик, аптекарь, электрик, молочник, сапожник, портной, садятся на пол перед алтарем и в течение часа поют песни на стихи средневековых поэтов под фисгармонию, таблу и разные колокольцы. Называется бхаджан. Или киртана. Песни, настоянные на бхакти, любви к божественному миру. Там среди них и Шреас, сын брамина, профессор физики. Однажды я сказал ему, а не попробовать ли нам совместно прочесть один фрагмент из десятой мандалы Ригведы, я перевел его на русский. Конечно, говорит, приходи. И вот иду и думаю: там речь о сотворении мира, о первых мгновеньях, даже до, значит, надо бы начать с тишины, потом некий первозвук... Но какой? И на каком инструменте? Наверное, на фисгармонии, там звук рождается с помощью воздуха, праны. Какая-то одна нарастающая нота, почти из небытия. Потом вступает ритм, табла... Затем тихие колокольцы. Потом уже речь, текст в тишине. И в конце они вступают голосом, поют а капелла на маратхи дивную песнь на слова средневекового поэта святого Днянешвара. Пасьядан, молитва-гимн всему живому во всех трех мирах, обращенная к материнской ипостаси бога: будь и сияй, господи, в каждом своем дуновении – и в стебле травы, и во мне, и самосознании солнца. Написал он ее в пятнадцать лет, а в двадцать вошел в самадхи, сочтя свою земную миссию исполненной. И вот мы вместе выложили на полу из свечей большую мандалу, подожгли, сели вокруг нее. Но как же им сказать об этой первой ноте сотворения мира? Тем более что по-английски никто, кроме Шреаса. Да и кому говорить? Мне – им, о Ригведе? Удивительно, как они все перед началом вдруг смолкли, прикрыли глаза и, посидев так несколько минут... Нет, не заиграли вместе, а только тот, с фисгармонией, пока у других глаза были еще прикрыты, начал тянуть эту едва различимую ноту из небытия. Тот самый Динеш, который в прошлом году в ответ на мою просьбу прийти послушать их бхаджан спросил: а зачем? За тишиной, сказал я. Он улыбнулся и говорит: я простой человек. Там, я кивнул в сторону неба, не сложнее, наверно. Он прикрыл глаза: приходи.

А ночью выйдешь на веранду: вдаль в небе над неразличимыми во тьме горами письмена горят. И как это лесники умудряются так лес поджигать, что он горит, не сгорая – неделями, огненными письменами, а перелистнется на чистый лист – деревья целы, лишь трава выжжена.

Так и дни горят, не сгорая. Может, уже февраль? Серджи, Серджи, кричат в рыночной глоссолалии, иди сюда, бери эту рыбу, и ту тоже, не надо денег. Сядем с Таей под нашим окном на краю света у самого аравийского моря. Вот рыба, вот таз, вот нож – тот, что она выискала в Москве, особый, охотничий, мне в подарок. И мелкую денежку дал ей взамен, чтоб не поссорились. Знал бы он – и нож, и боженка, – сколько нас полегло.

Кошка пришла, учуяла рыбу. Худющая, только что родила. У нас родила, наверно, не у хозяев. Там же, на веранде, за перегородкой крыса живет, большая и древняя, хотя все еще в детородном возрасте, проходит в шаг от нас, волоча брюхо по полу, не поворачивая к нам головы. А лапы семят. Будто лилипуты несут дреднот. Родила недавно. А чуть затем и кошка родила. Там же, за перегородкой. И крыса уступила ей палату, ушла. Потом, видно, посовещались, и кошка перенесла детей вниз, а крыса со своими вернулась. Все друг друга понимают – мы их, они нас и друг друга. Потом детки у крысы подросли, и один детка забрел к нам и свалился в унитаз, барахтался там, не мог выбраться. Меня в тот момент не было, Тая

увидела, вынула рукой, отнесла маме. Я б не смог. А несколько дней спустя я скорпиона под нашей кроватью убил, отягчил карму.

Тая поднялась вверх в нашу светелку с окном в океан – постирушки, то да се, а я тут, во дворе, рыбу чищу. Молодая акулка-молот. Буквой Т, римский крест, с маленькими злыми глазами по краям перекладыны. Рынок сегодня кипел, корабли пришли из недельного плаванья, несколько десятков тысяч рыб были переброшены с лодок на въехавшие в воду повозки, запряженные быками, а с них – на прибрежный песок. Не ахимса тут, столетиями живут рыбной ловлей. Хорошо какому-нибудь саньясину сидеть в своем лотосе и лотосом питаться, а мы, грешные, едим, как медведи – травку-ягодку, рыбку-человечинку и мед с кровью. Тая на веранде белье развешивает, трусики свои рядом с моими, и это сводящее с ума платье, которое шила в ближнем городке, куда ездили – я зубы лечить, а она, пока ждала меня, шить, садясь в швейной лавке рядом со швеей, объясняясь на пальцах, смеясь, кроя и примеривая... и плача. А над столом на нашей веранде мозг висит на нитке. Верней, внутричерепная косточка акулы. Из нашей рыбной ухи выудили, разглядывали. Белейшая, полупрозрачная, фигурная. В профиль – как два присевших лицом к лицу и взявшихся за руки человека: Тая и я, кружась на нитке от ветерка, на краю света.

Нулевая луна, тьма тьмущая скоро ляжет, а через пару недель будет прилив – на весь километр оголенного дна. И все это хлынет сюда, ушатывая дом и нас наверх. Но смоем мусор прибрежный, чистенько станет, как до сотворенья.

Есть люди, чья внешность с возрастом меняется не постепенно, а два-три раза в жизни, но существенно, меняя облик и образ. Смена эта накапливается как бы исподволь и проступает неожиданно, как бывает с приходом осени наутро или снега. Мы оба с Таей, похоже, принадлежим к этому типу. Думаю, последние лет двадцать или даже больше внешность ее почти не менялась. Но все чаще она вглядывалась в свое ближайшее будущее. И в зеркало. И не раз говорила, что ей в этом облике осталось лет пять. Вроде бы с улыбкой, с иронией, но видно было, что беспокоить ее это уже начинало всерьез. Хотя никаких примет, она по-прежнему выглядела той самой девочкой, все еще не обжившейся в женщине. Но вдруг ее так накрывало, что даже стыдилась при мне раздеться, ей казалось, что она уже не та, и тревожно вглядывалась в то мнимое ближайшее, когда вдруг перестанет быть для меня желанной. Особенно при такой необычайной телесности нашей связи. Я ее отвлекал от этих мыслей и действительно не мог представить себе, что это неутолимое желание может когда-либо стать меньше. И не хотел в эту сторону глядеть. Особенно в Индии, в этом бескрайнем аадж – единственно настоящем «сейчас». Горящем между двумя каль – прошлым и будущим, как между двумя зеркалами.

Впервые мы увиделись в аэропорту Домодедово, шел снег во тьме. Перед тем, случайно встретившись в сети, полгода переписывались. И вдруг, еще не видя друг друга, взяли билеты в Индию. Я прилетел в Москву из Мюнхена, она – из Севильи. Как же узнал ее, встречая? Ее, а не ту, что на снимках. Не помню, как обнял ее, окунул лицо в ее волосы. Как всплывал оттуда, чтобы снова увидеть, не открывая глаз. А вдруг все исчезнет или станет другим? Нестерпимое чувство родства и чуда. Хотелось взять ее в ладони, не только лицо, но всю – такой маленькой она казалась, да и оба мы – глядя откуда-то из других миров. А потом долго ехали через всю Москву, и я пытался произнести эти слова. Даже не я. Не слова. Казалось, одно движение губ – и ни нас, ни мира вокруг не станет. А она улыбалась, пряча лицо за букетом цветов, и за мутными стеклами плыла Москва. Я люблю тебя, я... тебя... Мир не исчезал, уж не знаю, за какую небесную нитку держась. И потом, в комнате с видом на снег и огонь, я не помню уже ничего, каждый миг был последним, будущего у такого быть не могло. Только чудом. Оно и разделило нас: ее – у окна, меня – у кровати. Молча, легко, чуть светясь и дрожа. Она приближалась ко мне почему-то на цыпочках, или пол был холодный... И летели, летели в свободном падении – в себе и друг друге, пока не стали одним.

#4. Тропка

Гурзуф, осень 2013-го. Может, и так. Где-то в той дали, которая движется своими тропами, а была твоей жизнью, оставив тебе это смутное двоюродное чувство. Так и остановка моя называлась на трассе Симферополь – Ялта: Тропка. По требованию. А следующая – Свидание. Нечаянное? Не помню, я выходил раньше. В том краю. За два года до встречи с Таей. Сидел в саду под деревом зреющего инжира, смотрел на море в серебре, на опустевший поселок, на дачу Чехова вдали внизу, на трех сестер у воды. Без веры, без надежды и любви. Но рядом, ближе близкого. В доме Геши, в пустынном солнечном доме, откуда разъехались гости. Остались лишь мы вдвоем и Чес – большой рыжий барбос, улыбающийся, настоящий, каких на земле почти не осталось. Он вскоре уйдет, а вослед и Геша. Высокий ладный человек, воспитанный морем и безоглядной свободой. С мягкой печалью в глазах и тихой песчаной улыбкой. Как бы с неловкостью за эту свободу – смертную. Сидел в саду, спиной к брошенной своей квартире – где-то там, в верхних домах поселка. Годы, как все реже туда возвращался, перебравшись к Геше, где и жили втроем с Чесом до поздней осени, а потом они оставались вдвоем до весны. Странная дружба, поздняя. Разные миры, но такая чуткость, что и слов не надо. Он чинит крышу, Чес у ног моих, я смотрю вдаль, на край лагуны и вспоминаю, как много лет назад, за день до Нового года переехал сюда из Киева, поменяв квартиру, как спустился к морю на безлюдную набережную, где шел густой снег мохнатыми хлопьями, но шел только над землей до береговой кромки, а над морем сияло солнце. И старинный трехмачтовый фрегат трепало и разваливало волной о берег. Фрегат, построенный для съемок фильма и оставленный на зиму на якоре в море. Купил в поселке шампанского, вернулся, разделся, перебрался на корабль и выпил на грот-мачте – за новую жизнь. Геша поглядывает на меня с крыши, нет, ему не нужна помощь, просто слегка смущенная радость – оттого, что оба мы здесь, рядом, что, может быть, на днях пойдем в горы на несколько ночей. Горы уже меняют свои шали на желтые и багряные, но и зелень еще держится. А потом, когда к берегам подойдет ставрида, а вослед и дельфины, возьмем лодку и пойдем на рыбалку. А однажды утром проснемся: снег, и горы лежат, как Венеры в мехах. Латает крышу, а я сижу пишу обещанное одной киевской галерее о современных украинских художниках. О Дереве, веревке и Гоголе. Что общего, говорит Павич, у разбойников, привязанных к дереву? Дерево и веревка. О Дереве-Украине, и веревке-времени я уже написал. И о Гоголе. Которого нет нигде – ни в России, ни в Украине. В Риме душа его, говорит, и к гробу Господнему едет в Иерусалим, а приехав, не выходит из тарантаса, сидит под дождем в пригороде, не нужен он мне, шепчет, и уезжает. Гоголь как Заколдованное место, как Майская ночь между Западом и Востоком. И перешел к художникам. И задумался. Истинный дар, говорит Деррида, не должен иметь ни дарителя, ни получателя. Усталость. Когда история кончилась. Маски, гримасы зеркала. Нос Ковалева. Даже боль ощущается как цитата. По одной из гипотез, человек и произошел от носа. Точнее, от маленького органа в межноздревой перемычке, отвечающего за половое обоняние. Гоголь это предчувствовал. Носы живут на луне, а земля страшна для носов, перемалывает их в муку. Может, пока закопаем его в саду, спрашивает Геша с крыши. Это он о чеховском ружье. Шурик, школьный друг, перебравшийся в Москву, принес его, чтобы Геша пока припрятал, а через несколько дней Шурика убили. Давно это было, в девяностые, с тех пор ружье лежит под кроватью, завернутое в детское одеяльце. Да и чеховское ли, в ту осень каждый день ездили с Гешей в ялтинскую библиотеку – письма, документы, гору всего прочли, так и осталось неясным. Поначалу думали в музей отдать, но как – со всей той темной историей и допросами? И забывали о нем на годы, пока вот так вдруг не всплывало. Третий акт, видно, будет без нас, без людей. Но Геша уже не слышит, стучит молотком. Накануне вечером смотрел в ютьюбе разговор Натальи Исаевой о речевых энергиях в шиваистской картине

мира, об отсветах Кьеркегора и Хайдеггера, о театре Васильева. Об окольной, эллипсоидной речи как божественной вахане, способной приблизить нас к неименованному, попросту говоря – к озарению жизнью. Смотрел, вспоминая землю Семи сестер, юго-восток Индии, куда не очень-то ездят из-за несмолкающих войн между тамошними племенами. В деревушку рядом с заповедником у Брахмапутры, где мы с Любой жили вылазками в джунгли, приехал передвижной театр. Место для представления выбрали на краю деревни, у самой границы с заповедником, построили шатер, сцену, зрители шли со своими стульями, или садились просто на траву. Нашими соседями в ряду были егеря в камуфляже и с полотенцами, повязанными на голове на манер платков, они смотрели, опираясь на свои полутораметровые допотопные ружья времен британской колонизации. Время от времени у них включалась рация и они переговаривались с патрулем, ушедшим в джунгли, или с диспетчером. Двумя днями ранее мы ходили в ночную с таким патрулем: когда наутро возвращались, по рации сообщили, что соседний с нами патруль расстрелян браконьерами в упор из автоматов; кончив с людьми, они допилили рог у полуживого носорога и исчезли. Спектакль длился часов пять. Смотрели всей деревней. С едой, детьми, собаками, коровами и обезьянами. А за спиной горели джунгли. Огонь приближался, опережая дым, подымая зарево в полнеба. И этот погруженный во тьму зрительский островок находился как раз между двух освещенных сцен – актерами перед глазами и горячей природой за спиной. И голоса актеров смешивались с голосами слонов, носорогов, оленей, теснимых огнем к деревне, к людскому театру. А в ладони моей – ладонь Любы, и во тьме ее живота – наш ребенок, зачатый в джунглях в опустевшей пещерке отшельника, отошедшего уже к другой речи. И подумал тогда, этот островок во тьме между двух сцен и есть дом, родина. Ведь она – не могилы предков, и даже не язык, а блуждающее окно, которое вдруг совпадает с тобой и распаивается внутрь тебя. И произойти это может в любое мгновение и где угодно. И так же безотчетно покинуть. Душе ведь закон не писан, и родина ее не здесь. Есть цель, и нет никакого пути, говорит Кафка, путь – это наши сомненья. Сидел в саду, дописывал очерк, над головой зрел инжир, смеркалось море, все еще было в тех границах, которые казались незыблемы – и Крым, и мир. Собрал вещи, Геша проводил до калитки и долго глядел вослед, будто чувствуя, что больше мы никогда не увидимся.

Потом, что ли, год спустя, оказался в Хорватии, перечитывал Джойса, переводил его письма к Норе, бродил по приморскому городку Пула, где он жил с ней, а потом переехал вслед за ними в Триест. Чуть в стороне от себя, чтоб не спугнуть что-то едва сквозящее из будущего, но не вглядываясь, не загадывая, хотя и чувствуя это смутное приближение... Индии? Но как, когда, да и возможно ли это после всего, что было? И что-то записывал, идя по следам Джойса, его здешней жизни, чуть в стороне от себя и этой простиупающей впереди тропки.

В 1912 году Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке по приглашению княгини Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ прибывает в ее Дуинский замок под Триестом и начинает Элегии. Примерно в это же время Джеймс Августин Алоизиус Джойс, живя в Триесте, дописывает Портрет художника и, прогуливаясь со своим другом и учеником – Ароном Гектором Шмицем (Итало Звево), будущим прототипом Леопольда Блума, задумывает Улисс. Оба смотрят в один морской горизонт. Ни до, ни после за всю свою двухтысячелетнюю историю этот странный греко-римско-австро-венгерско-славянский город, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия, не отмечен ничьим присутствием, кроме этих двоих.

Да, как цветок по изгороди, как повилика, он взбирается на гору с Далматинской площади, этот старый трамвай, а в нем – французский консул Стендаль, футурист Маринетти и психотерапевт Фрейд, говорящий им, что это не город, а воплощение либидо – итальянского, женственного, божественного... А город – там, внизу, в дымке: кондитерско-имперские дредноуты пятиэтажных лепнин, щечка к щечке, но при этом делают вид, что никого рядом. Все окна темнят. Кто же тогда живет в этом городе? Кто эти люди на улицах? Кто стоит за опущенными жалюзи? Например, по виа Армандо Диаз, 2, второй этаж. Вот они выходят из парадной:

«Какой такой Джойс, – переспрашивают жильцы, – это наш дом, никаких писателей тут нет и не было». Над дверью вывеска: «катастрофа», а в витрине – старые радиоприемники.

Зачем, говорит Нора, ты переводишь столько бумаги, не по карману нам. Ее настораживает его способность составлять фразы разными способами и в непредсказуемом порядке. Она видит в этом некую угрозу возможностям понимания. У нее спальные формы, мягкие, утренние, чуть в тумане. Ей идет эта вуаль.

Как один нескончаемый день – женщина, эти улочки в ней, пелена, корабль, который никогда не придет, цветок, вьющийся по ограде, эти деревья с пряным запахом, как в укромных уголках ее тела, которого нет здесь, как нет и деревьев. Как странно. Нет их здесь, в этом городе. Но ведь это не так. Они ниспадают древесным вавилоном с холмов и гор его окружающих, а в город – ни-ни. Но ведь это не так. Есть места. Да, есть места и для смешанного проживания домов и деревьев, и уж там они тихо сходят с ума – как цветы по изгороди, до одури, до затмения. До одури просветленья писать Навсикаю, полную, как говорит он, ладана, культа Девы Марии, жареных устриц, палитр художников, трепотни, околичностей, жить в съемной квартире с одиннадцатью домочадцами, донашивать башмаки сына, на два размера просторней, преподавать английский в школе Берлица, замирая с недвижным взглядом в окно и, возвращаясь в себя, диктовать слова, слова – без смысла, последовательности и метода, идти домой, но где он, дом, в этом городе, играющем им, как в наперсток, городе «увядающей элегантности», о котором – о, счастье – забыла история, забыла – и об аргонавтах, и об Аттиле, и об Ангеле, возвестившем день Страшного Суда, жить здесь, и больше всего на свете трепетать от грозы, любить Пуччини, говорить на триестино – будущем языке Поминок, обожать Нору, осыпаясь жаром от звериной нежности к ней, пробираться в комнате от кровати к кровати через гору черновигов, зачинать детей и не знать, куда положить их, называть Триест своей душой и бояться оставаться в нем, в ней, бродить от пивной к пивной по этому «левантийскому Дублину» с будущим Блумом мимо ранних базилик и руин Колизея неподалеку от сербского храма, напевать своим тенором по-русски, поджимать надмирные губы, писать Паунду, что, наверно, умрет этой тварной ночью в «Полярной звезде» на Большом канале, где в дальнем углу все еще стоит это русое расстроенное пианино...

Может, сходим в Джованни? В то маленькое бистро за театром, где не протолкнуться от гомона, а кружка бочковой мальвазии стоит один евро, где снизываемая тесаком с туши пармская ветчина – три. Пойдем-пойдем, она нашептывает ему себя как тайну, как жизнь. Они спускаются в лифте, выходят под моросящий дождь и движутся в его пелене черным сплетенным иероглифом под красным зонтом. По пустынной набережной, по виа Мирамаре, мимо сидящих на парапете у моря двух окаменевших девочек, двух школьников, двух парок, пена заливаает их босые ступни. Теперь налево, где между Беллини и Россини течет рукотворное море, в котором когда-то исчез эсминец, мимо св. Спиридона, через мостик, где стоит на ветру Джакомо – в круглых очках, в шляпе и сюртуке, да, как обычно носил он – пиджак и брюки от разных костюмов, стоит, руки в карманах, неприметный, огибаемый торопливыми прохожими, и дальше – к трактиру Джованни, да?

Да, вздрагивает бронзовый Свево Блум, стоящий под дождем в получасе ходьбы отсюда, спиной к чернильнице моря, на пятачке Хортис. Да, вглядывается в окно дуинский затворник: как кроится в молниях небо, как врывается ветер, склоняя его над листом бумаги: «с красоты начинается ужас». Да, шепчет на мосту Джакомо Джойс, у писателя в чернильнице есть лишь один роман, который он пишет всю свою жизнь. Да, говорит она, и тогда он спросил меня, не хочу ли я да сказать, да, мой горный цветок...

Вернувшись в Мюнхен, узнал, что Геша в больнице. Неизлечимо. Но держался. Сколько б ее ни осталось, говорит. Надеюсь, что все-таки годы. Ушел из больницы, похоронил Чеса и, слабея, все реже выходил в сад посидеть на весеннем солнце, читая Моби Дика, оставленного мной в последнюю нашу встречу. Читал и таял.

И Крым таял. И тропка, мелькнувшая было. Да и я – не сказать, где и кто. В один из дождливых дней листал ленту фб и замер, впервые увидев ее. Преодолев неловкость, написал ей. Познакомились. Она находилась в Севилье, собиралась в Южную Америку, раздумывая, куда.

#5. Бор

В наш первый приезд в Индию я повез ее в знакомые мне места – заповедник Раджаджи, предгорье Гималаев. А потом перебрались на юг, взяв билеты на единственный поезд, куда еще были на ближайшие дни. И вышли в Нагпуре, штат Махараштра.

В этот город туристы не заглядывают, смотреть там вроде бы нечего. Бродили по непролазным мусульманским кварталам, ели чудесный бирьяни с козлятиной и наведывались в лесной департамент разузнать о заповедниках в округе и, при удаче, съездить с егерями в патрулирование леса, чтобы потом, не рискуя столкнуться с ними, ходить в джунгли самим.

После нескольких визитов к чиновникам оказались у замминистра, пили чай, разговаривали, смеялись, Тая фотографировала, приходили и уходили его подчиненные, принося какие-то трешевые буклеты для нас, в общем, становилось все ясней, что этот милый толстяк вряд ли что-то дельное нам посоветует, сам он в джунглях, похоже, никогда не был.

Когда вышли из его кабинета, к нам подошел шуплый, похожий на фитилек, библиотекарь и прошептал, что, если мы хотим в настоящие джунгли, нам нужно идти на Zero-mile и найти там Сурию Кумар Трипати.

Нулевая миля, солнце... Ничего не понятно, но мы нашли. Нулевой милей оказалась площадь неподалеку, где находился егерский офис. В маленькой голой комнате, особняком от зала с клерками, сидел лучащийся человек неведомых лет. Перед ним на пустом столе стоял чай – не по-индийски, а в стакане с серебряным подстаканником, черный, с лимоном. Я присел напротив него, Тая чуть в стороне. После нескольких фраз мы оба с ним примолкли, глядя друг на друга. Возникло чувство, что встреча особая. И что на этот раз мне не нужно играть двойную игру, а можно говорить открыто, чего мы хотим.

Джунгли, значит, сказал он, лучась и лукаво щурясь, и правая его рука выдвинула ящик стола. Настоящие, значит, и чтобы быть там вдвоем? И положил на стол ключ. Это от моего домика в тигрином заповеднике Бор. Автобус через полтора часа с западной автостанции. Поезжайте, и, думаю, не пожалеете. Да, не забудьте купить в городе еду на первое время, потом разберетесь – в пяти километрах есть деревушка Хигни. И вот еще, он вынул лист бумаги и нарисовал план, как ходить в заповедник по обеим сторонам озера, которое прямо за домом. И купите сим-карту, это, конечно, прекрасно, что вы не пользуетесь здесь телефоном, но – пожалуйста, так было бы лучше. И улыбается. Но за улыбкой – ни свет, ни тьма, а некие ландшафты, подмигивающие друг другу. Потом он будет не раз исчезать из виду, и особенно, когда связь с ним крайне нужна, и возникать, как ни в чем не бывало, лучась в объятьях.

Добрались, расположились в его егерском доме и каждый день проводили в джунглях, беря с собой запас нехитрой еды. Иногда я ходил один, Тая понимала это, да и самой ей нужны были эти паузы. Неделей прежде, в Раджаджи, она столкнулась с тигром, прямо рядом с деревней. Я был в глубине леса в это время, она ждала меня в номере, а потом решила пройтись мне навстречу, днем раньше мы уже ходили этой тропой. Только вошла в лес и столкнулась с ним, у него еще, как она сказала, рыльце в пушку было, а перед тем заполошное кудахтанье слышала с той стороны, откуда он вышел из зарослей. Видать, петухом лесным завтракал. Вышел, прятнул от неожиданности, замер, глядя на нее, медленно повернулся и ушел. После этого она уже не подначивала меня сходить вместе на ночевку – мол, видела она в своей молодости и не такие леса. Это когда она в геологической партии работала, вертолетные заброски в тайгу на месяцы, одна девушка среди мужиков, но, говорит, никаких притязаний не было, вот только

с медведями бедово, много их там. В общем, некоторый опыт у нее был. И тут, когда перебрались в Махараштру и поселились в этом тигрином заповеднике у Сурии, она говорит тем утром: нельзя мне сегодня в лес, дни начались у меня, но если уж так хочешь увидеть тигра – идем.

Вроде как в шутку сказала, вспомнив таежный закон для женщин: не отходить от лагеря в такие дни, медведь кровь чувствует издалека. Улыбнулись – и пошли. Не думаю, что дальнейшее было с этим связано, но черт его знает. Все эти дни даже следов тигриных не видели. И лес волшебный, и погода, и первая наша Индия, как-то расслабились мы в тот день. Идем, тихие, радостные, по сторонам смотрим. И не видим. Вот стадо оленей, вдруг всполошенное, пронеслось впереди, пересекая поляну. Не от нас ведь. И вскрикивают вдаль, не успокаиваясь. А мы идем, как бы не замечая. А потом попугаи взмыли с деревьев. Не от нас. И лангуры взволнованные подают сигналы с верхних веток. Очевидно же, и знаю все это, а тут – как выключено что-то внутри, такое блаженство, идем себе, и улыбка с лица не сходит. И дальше – в нескольких шагах от тропы, в непролазном овраге – громкий шорох, кто-то крупный метнулся и затих. Остановились, присели, вглядываемся, ничего не видно сквозь заросли. Еще пошутил – нельзя, мол, садиться на корточки, а то тигр может принять за кабанчика, как того лесника, которого недавно разорвал в этом же заповеднике. И идем, о чем-то разговариваем...

И вдруг. Стой, шепчу, и сжимаю ее ладонь. Тигр. Где, спрашивает. И уже видит его. В пяти шагах от нас. Лежит на обочине тропы, на пригорке, смотрит в упор. Лежит недвижно, желтые глаза, голову положил на лапы. Один прыжок, с места, и все. Пока не знаю, что делать. На дерево? Но ближе – за спиной и втрое дальше, чем он. Да и не на первое попавшееся лезть ведь. Я на дерево, шепчет она. Подожди, говорю, стой рядом. На поясе у меня нож, и рука вроде уже там, но это смешно – игрушка против тигра, рука переместилась выше – к камере на груди, пытаюсь навести на резкость, но мешают травинки у его глаз. Черт, шепчу, черт... Никак. Лежит, не сводит глаз. Чувствую, ее уже нет рядом. Оборачиваюсь – она на дереве. Возвращаю взгляд к тигру – нет его, только трава еще колыхнется вслед за его уходом вглубь.

Уж не знаю, почему и как – ведь все понимал, нельзя это делать, никуда он не ушел, только перелег в густую траву, где невидим, и ждет в нескольких шагах от меня – и медленно переступая, иду к нему, продолжая держать камеру чуть ниже лица. Трава выше моего роста, желтая и настолько густая, что на вытянутую руку свою ладонь не видишь. Тая кричать начала. Как потом сказала, чтобы, может быть, как-то отвлечь его, спасти меня. Не кричи, я ж ничего не слышу тут, после каждого шага замирая, вслушиваясь. Обернулся к ней: смотри за спину, прикрой меня, он будет обходить... Кричит, не слышит.

Еще несколько шагов делаю к длинному просвету в траве. Он стоит в конце просвета, смотрит на меня, и вдруг издает этот рык... Не тот, который мы слышим в зоопарках. В НАСА его изучали – низкие частоты, приводящие в ступор оленей. И скрывается в траве. Похоже, будет обходить справа.

Медленно отступаю. Слежу за верхушками стеблей, недвижны. Где ж он? Еще шаг назад...

И тут – прямо из-под ноги – он вздымается надо мной. Именно над, я помню его морду и, кажется, даже выдох в мое запрокинутое к нему лицо. И отшатывается в сторону. И меня, как волной, отшатило. И тут же за моей спиной вздымается второй, зеркально. И уносится вслед за первым. Удаляющийся треск в кустах на пригорке. И тишь.

Я не должен был уцелеть. Так не бывает. Два взметнувшихся надо мной языка пламени, и я между ними. Голова первого была так близко, что глаза и ощеренная пасть на миг перекрыли небо. Даже страх не успел сковать. Он был, накрывал волнами, но перед тем – пока передвигался в траве вслепую. И особенно, после того как увидел его в просвете, зная, что он, похоже, будет меня обходить, подкрадываясь. Зная... В ту минуту, когда не один, а двое уже

подобрались и залегли по обеим сторонам от меня, в шаге. Не бывает. Может, меня и нет уже? И все это мерцает в тающей памяти уже по ту сторону?

Стою. Только сейчас начинает проступать все прожитое за эти несколько минут. Тая уже не кричит. Возвращаюсь на тропу. Она спускается с дерева, а я все вглядываюсь в даль тропы: должны выйти, еще обернуться...

Похоже, они шли за нами все это утро в течение нескольких часов. Слава богу, что, видимо, молодые, неопытные, как потом предположил Сурия. Ну и еще, наверно, я отчасти дезориентировал их с территорией, так оголтело заявив на нее права. И жив. Не редкий случай, а уж не знаю, как назвать.

Идем отсюда, быстро уходим, говорит Тая. И в лице испуг, решимость и какая-то отрешенность одновременно. Понятно, что препираться с ней сейчас не выйдет. Отошли на луг, опустили в траву, молча. Как мне хотелось тогда разделить с ней все, что произошло. Словами, чувствами, взглядом... Не разделишь. У нее свое.

#6. Почта

– Люба, люба... трудно мне, я, как за стеклом, и пока не знаю, что с собой делать – где Индия, где я... Завтра в джунгли. В какие и кто – нет ответа. От меня только речь и осталась, да и та сгорит как спирт.

– Мы разминулись всего в семь минут. Жаль, что не застала тебя. Надеюсь, в лесу ты перестанешь биться в это стекло – и наконец почувствуешь и себя, и мир вокруг. В Мелгате, если доберешься туда, должны водиться панголины. Лёнька пошел первый день сегодня в школу, еще неделя – и снова каникулы. Мы прочли «Затерянный мир», начали «Трех мушкетеров» – он все это хочет, не рано, кричит, не рано, ты мне все объяснишь, если я не пойму что-то.

– Мобильная связь тут никудышная. И света нет. В Раджаджи видел лепара – с двадцати шагов. А в Боре был между двух тигров – вплотную. Ах, люба, мне так много тебе рассказать надо, но где взять еще тысячу лет?

– Хочется сказать: подожди, подожди, дай опомниться, не выкладывай в фб больше. Я пока еще не могу говорить о снимках, только рассматривать. Чувство огромного мира и дара – но ты как будто чуть в стороне от этого. Знаешь, будто тебе положено делиться, раз уж так одарили, но ты вроде и сам не слишком этому рад.

– Именно так, и я болтаюсь между небом леса и этой публичной землей, как в петле. Но и с лесом не все так просто. Когда я с Таей, мир обступает меня, но именно об-ступает... Без истории речи, коллизий зрения, без «другого». Видел нашего Мохаммед-Хана, жив еще, представь, сидит у хижины, ухаживает за маленьким слоненком, как когда-то за Йогином. А Йогин вырос в девятилетнего слона уже. Даже вроде узнал меня, правда не сразу. Ты мне как-то тревожно снилась сегодня.

– У меня странная неделя и настроение, и я очень жду поездки в деревню – устала от Москвы и хочу побыть в тишине. Все, что ты выкладываешь, я читаю, вижу. Мне только трудно отвечать – скорость внутреннего отклика настолько опережает слова, что произносить их мучительно. Эти он и она, которых ты назвал акварелями джунглей, ранят в самое сердце. А стихи – из любимых и особенных – с райским отсветом и неприкаянной этой нежностью, с этим невозможным да, опоздавшим на тысячелетие. Моя, до щекотных мурашек, муха, которая, прости господи, была Петраркой. Мне что-то грустно совсем, Взро.

– Я уже в Мюнхене. Лето тут, птицы заливаются, а воздух темен. Нет ли у тебя – у меня – еще одной, другой жизни? Почему ты молчишь, Гесиод?

– Смерть Рашида произвела на меня странное впечатление, не перестаю об этом думать. В самадхи я почему-то не верю, думаю, что это Ханси продолжает его мифотворчество. Но с

ним откололась и ушла какая-то огромная часть прошлого, светлого, невозвратного – он все-таки действительно был, пожалуй, не свами, а великим катализатором и провокатором, расшевеливая в нас что-то очень важное. Был ли такой уход в его списке судьбы, в который он так слепо верил – или делал вид, что верит? Мне будет не хватать его – или, по крайней мере, мысли о том, что где-то в Индии он есть. У меня какое-то мучительное перепутье, и я пока ничего не могу решить. Это, конечно, здорово осложняет все. Но как-нибудь да будет. Лёнька был очень взбудоражен разговором с тобой – и, по-моему, он начал ощущать нехватку этого в своей жизни. Я небольшими набегам читаю твою новую книгу – а другой темп для нее, похоже, и не подходит. Она удивительная. Ты идешь при полном ветре. Вообще, думаю, эти годы – самые плодотворные у тебя.

– Мы с Лёнькой, кажется, неплохо повидались по скайпу, хотя и «за нумизматикой». Он раскладывал пасьянсы с карточками, как Рубинштейн, и декламировал английские слова, отодвигая лишнее и неизученное. Я предложил ему выучить какое-нибудь новое, но особенное слово, странное, которое было бы нашим паролем. Который мы могли бы менять, – добавил он. Ну да, менять, пусть он скажет на русском, а я переведу и запомним. Ну, например, забвение, говорю, и хотел пояснить, но он снисходительно заметил, что, мол, понятно. И предложил «любовь». Любовь, говорю, ведь довольно распространенное... Но и странное ведь, парировал наш Монтень. Сказал ему о новой своей книжке, о том, что в ней есть и о нем, и о нас, и что может быть, когда-нибудь он прочтет. Да, ответил он, вот «Таинственный остров» дочитаю и тогда...

– Я как-то не ожидала, что ты уже летишь в Индию. Трудное ты затеял дело с группами, но я очень надеюсь, что и в этот раз тебе хватит куражу, и легкости, и одного хлопка ладони, чтобы все это осуществить. И пережить. Мне так много радости от твоих писем, от перечитывания их, а от книги так нестерпимо – и единственно возможно, что я живу абсолютно косноязычно или даже немо: боюсь расплескать все, что у меня есть. И еще – только что пришел перевод от тебя, но там что-то слишком много, ты не ошибся? А грустно мне оттого, что теперь в Индии тебе не до нас. Но пусть у тебя все получится. Пиши нам, когда будет возможность, ладно?

– Мы уже в Харнай. На подъезде двадцать пять человек, три группы, одна за другой. Писать я буду, дело не в суете, а в отсутствии интернета, на мобильном только, и то – ловить надо. Что же тебе сказать? Ну вот сегодня, например: съездили в соседний городок, я очаровал босса местного Газпрома, он выпишет нам газовый баллон с плитой, что оказалось делом государственной важности тут, даже индусам положен только один баллон на семью, потом – пройдя по рынку и выйдя обвешенным дюжиной кульков со всяческой хозяйственной дребеденью, я ввалился к редактору краевой газеты и вывалился оттуда весь в цветах и аплодисментах, по пути купив модем и, сросшись в объятьях с наладчиком модема, оказался в харчевне, где навернул полведра тали и утих в кресле стоматолога... Однако и пригорюнился: полторы тыщи долларов будет стоить то, откуда прежде доносились слова и ветер. Мы уже арендовали вереницу дивных четырехколесных вахан, сняли несколько кварталов дворцов и хижин и договорились с эскадрой кораблей. Теперь осталось выбрать из них то, не знаю что. А! Вызвали сантехника и установили гизер на Луне. Потом пришли две маленькие тихие незнакомые девочки и вымыли пол. Ты опять не сказала, что Лёньке прикупить, – мама все равно собирает посылку, пусть бы полезное было. Вот тебе на дорожку – надпись Ашоки на камне, три с половиной тысячи лет назад: «За двадцать шесть лет, прошедших со дня моей коронации, многие животные были взяты под защиту: попугаи, дикие утки, летучие мыши, черепахи, рыбы, белки, лани, дикие и домашние голуби и все четвероногие твари, не годные для еды; кормящие козы, овцы и свиньи; детеныши, не достигшие шести месяцев».

– Я рада, что ты не один и в твоих описаниях снова появилось местоимение «мы». Нам разны дороги, твоя – святая, а мне, мне сеять мой рис и чай. Только что пересмотрела Пять

вечеров. И мне почему-то стало светлей и легче. А еще у меня есть новый альбом Федорова. Я еще продержусь.

– Насчет «мы». Раз двадцать у нас с Таей уже захлопывалась дверь. С обеих сторон. Мчусь сейчас в соседний городок – драть зубы и везти баллон с газом и плитой оттуда – одновременно. На этой неделе виртуоз собрался выдрать у меня два, пройти каналы в пяти, поставить мост и загрузить железо в десну под два импланта.

– Даже не знаю, что сказать тебе, чтобы подбодрить. Не обижайся на меня, мне правда, с одной стороны, хочется видеть тебя с распушенным хвостом, а с другой... Ах, как все трудно и не так, как должно было быть – от этой неизбежной муки я и болею, наверно, все время. Ты красивый на фотографиях, и девушка, знаешь, тоже, она тебе как-то идет. Не могу сказать, что мне радостно это видеть, не буду лукавить – все же больно. Но если у тебя все так ладится, значит, не такой уж немислимый зазор между вами. Ну, я сейчас запутаюсь – просто хочу, чтобы у тебя длилась эта невероятная Индия, пусть даже и без нас. Вчера нежданно-негаданно попали в зоопарк, смотрели на маленьких пингвинов и тюленей, ходили к беднякам слонам. Мне бы очень хотелось, конечно, свозить его в Ришикеш – на его родину, но пока все выглядит как мечты. Здесь метель и мрак. И мне очень трудно все это дается. Пусть у тебя все складывается – так же чудесно и непостижимо, как всегда.

#7. Мандала

Сома, напиток богов, за который порой отдают и речь, и душу. Он же – бог, Луна, и блаженство, и жертвоприношение. У индусов. А у греков сома – тело.

Где ж мы? Трудно сказать. Где-то в лесной глуши, примерно в полусотне километров от нашей деревни Харнай. Привез нас сюда на мотоцикле случайный знакомый. Сидим на крыльце избышки у кокосовой плантации, рядом озеро, в котором вроде бы крокодилы, за ним на холме хутор. Сторож угощает кокосом. Похоже, именно то место, о котором мечтали, чтобы побыть на природе – с палаткой или без, потому как сильно истосковались по джунглям в нашей рыбацкой деревне. Океан, притороченный к зрчкам дни напролет, конечно, прекрасен, но лес из него не растет, и слоны по волнам не бродят. А тут можно расположиться у шалаша, развести костер и ждать в ночи гостей – леопарда, например, и других обитателей, чтобы поговорить с ними о том, что их по-настоящему волнует – о Махабхарате, Упанишадах...

Или вот о гандхарвах и нагах. Верней, нагинях. Что-то меня эта тема последнее время морочит виденьями. Те и другие – полубоги, полулюди. Первые – жители небесного миража, вторые – подземного царства. Гандхарвы – крылатые вестники, отблески, музыканты. В поздних источниках – сродни кентаврам. Или с телом нильгау? Наги – змееподобны, с человеческими головами, стражи сказочных недр. Те и другие – носители добра и зла, по обстоятельствам и настроению. Те и другие ходят к людям, первые соблазняют женщин, вторые – мужчин. Между собой в любовные отношения не вступают. Нет свидетельств. Столкновения были, наги пожаловались Вишну, он уладил. А однажды боги направили к гандхарвам богиню Речи с тем, чтобы она вернула похищенный ими волшебный напиток сому. Речь явилась им в облике Сарасвати, жены Брахмы, гандхарвы готовы были отдать ей сому, но в обмен на нее саму. Она согласилась, но ускользнула, вернувшись к богам. Вроде бы. Потому как отчасти и осталась. Не разглядеть. Как сияющий лотос, растущий из топкой непрогляди.

Сторож разделяет кокос: в одной руке держит, другой тюкает кривым ножом по его темечку, сковыривая «воротца радости» и углубляясь к амброзии. Похоже на разделку головы каким-нибудь лириком-каннибалом. Или эпиком, если нет недостатка в соплеменниках. Ну что, говорю, попробуем, отведаем сок этого кокоса, его душу. И тем самым, как учит тантра, станем им. О, я уже чувствую, как неотвратимо с каждым глотком становлюсь этим сосо... put, что означает также и чокнутый. Тая смеется. Ну а ты могла б и не пить, мы и так пара, та еще.

Допили, еще помаялись там, легли под деревом, кого-то ждали... А потом ушли – на тот хутор, и спустились сквозь бурелом к озеру – высматривать крокодилов...

Во что ж она была одета? Не помню. Со спины, такой стройной, родной и легкой, так изумлявшей меня всегда и влекущей. А ниже – еще невозможней. Со спины, то ближе, то дальше. Так и шли, каждый в себе. Все эти годы. В себе, и вполглаза друг с другом. Так, чтобы не потерять из виду. Или потерять, но найти. Вполглаза и вполовину того, что не давало ни собой пребывать, ни нераздельно. Все как-то ближе, дальше, и под углом, с осторожными внутренними перемещениями, как танец на минном поле, тихом, солнечном, райском. Танец двух тел, созданных друг для друга, как никогда. И это не только про тело. А потом в них вдохнули все, что будет внутри.

Так и жили – как существа двух разных сред, стихий, языков. На переправе, на краю, на той мучительной полосе отдаления от себя и неприближения к другому. С осторожным танцем скольжений вдоль кромки. И казалось бы, все так в лад, даже спиной к спине, молча. Или ладонь в ладони, на разных берегах. Которых нет, а есть лишь эти двое как одно свечение. Но стоит оступиться чуть и соприкоснуться в них тому, что, собственно, и есть их жизнь – и не найти друг друга.

Там, в Харнай, в нашем доме на краю света с окном в океан. Окном, под которым он терся своими боками об утлые стены во время прилива, а потом отступал в даль, оголяя лунное дно с одиноким мангровым деревцем, в нашем счастливо пропащем доме, где стояла большая кровать и больше ничего, кроме окна с краем света, и веранды с милой облущенной балюстрадой, где мы так любили жить – так чутко рядом, чтоб не сказать вместе. С этим чувством дома, впервые у нее и у меня, на двоих, почти нашим, чтоб не сказать... И этой индийской семьей внизу, ставшей почти родной.

А по вечерам, возвращаясь с покупками с рыночной улочки, сворачивали во тьму, идя на ощупь в ее тихую глубь, к храму Махадев, который был почти всегда на замке. Верней, не к нему, а на подворье с несколькими маленькими храмами. Вот Махадев, напротив него – бычок Нанди, стоящий в домике о двух стенах по бокам, как в хлеве. Слева во тьме – лингам, вершину которого не разглядеть, а справа внизу – йони с остатками влаги. Рядом с Нанди – избушка на курьих, оттуда порой доносились чьи-то печальные вздохи и временами тихонький храп. Там, видно, жил один из деревенских бомжей. И совсем уже в глубине – маленькая часовня Ханумана. Это храмовое подворье было окружено плетнями обращенных к нему деревенских хат. Но неприметно, будто и вовсе не обращенных. Сюда на ночлег собирались бродяжные коровы и укладывались – там, у йони. Иногда подворье по краю пересекали лошади, бог весть откуда и куда, да и чьи. А Нанди был чудесен, из светло-серого камня, с головой, украшенной свежими цветами и затепленным огоньком у ног, со сказочными очами и слегка удивленным выражением лица, сделанный каким-то мудрецом двух небесных лет от роду. Если ему нашептать на ухо сокровенное – говорят, сбудется. Однажды, в самом начале, она сосредоточенно прикрыла глаза и что-то ему нашептывала. А потом я. Так никогда и не сказали друг другу что.

Храм этот был построен вдовой адмирала Канханджи Энгри, того самого «самудратлы», грозы всех морей, который по указу короля построил индийский флот на здешнем острове, где мы так мило предавались робинзонству и любились, любились – во все ангельские и тяжкие. А потом я сидел на камне у воды, перепоясанный индийским флагом, читал Чехова, а она ложилась на маленьком пляже за мысом.

Да, всякий раз, возвращаясь, мы заходили сюда, в этот волшебный мир за дверцей, которой не было. Тая садилась рядом с Нанди, стоявшим в своем хлеве между мужским и женским началом мира, а я топтался туда-сюда и вокруг, но чувство было как в близости или во сне.

Однажды купили много свечей, пару сотен маленьких шайбочек, и начали выкладывать на земле перед Нанди узор, мандалу, по наитию, не зная, какая фигура получится. Молча, каждый по-своему, но единый узор на двоих, он разрастался и превратился в необычайной кра-

соты ранголи. И мы затеплили его во тьме, а из остатка свечей выстелили две огневые дорожки в обе стороны от этой мандалы: одну – к лингаму, другую – к йони. А из ближнего дома вдруг проступили... Даже не люди, казалось. Приблизились тихо, склонились, коснулись пальцами ее ног, моих. И, постояв, глядя на этот горящий узор, так же безмолвно исчезли. Из того дома, где храмовая семья жила. А потом коровки вышли из тьмы и легли поблизости. И тишь, звезда над хлебом, как там, в Назарете... Чуть отошли, чтобы увидеть все это, и – нас не стало.

Кто где бродит в этой чуткости, за миллионы лет друг от друга, и на что оттуда глядит. Жизнь что-то шепчет нам на ухо, сокровенное, как мы – Нанди, только не разобрать, на каком языке, даже если и слышим.

Есть в древней Вишну-пуране, фрагменты которой когда-то переводил, такие строки:

*Что говорить.
Во всем, что ни возьми на свете,
есть лишь она и он.
И, кроме них, ничто не ново.*

Он – смысл слова, а она – звучанье.

Вспоминал это, расходясь с ней, всякий раз с запекающейся по краям разрыва немотой. И снова сходясь, как срастается разъятое тело.

#8. Бор

Прошло время, и мы вновь оказались в заповеднике Бор в домике Сурии у края джунглей. Сколько ж прошло? Я мог бы сказать точнее, но это не приближало к реальности: в том, что происходило у нас, время все больше становилось узорчатым, не линейным.

Собирался я ехать один, уже несколько месяцев как связь с Таей прервалась. Думал поселиться надолго у Сурии и попробовать снять фильм о нильгау, мифических антилопах, самцы которых в профиль похожи на единорогов, а самки, вдвое уступая им в росте, ходят в бежевых сорочках, выгуливая детей, пока эти султаны цвета грозового неба стоят вдалеке под тенистыми деревьями и недвижно глядят в иные миры.

Нильгау, что означает – голубые коровы. Этот индуистский отсвет отчасти и спас их от истребления. Хотя облик их вряд ли соотносим с коровьим, прежде их называли «голубые лошади». А греки, увидев их, совсем пришли в замешательство, приняв за химеру, смесь верблюда, быка, лошади, антилопы и козла. *Boselaphus tragocamelus*, как значатся они в науке.

По одной из легенд, Брахма воспылал страстью к своей совершеннолетней дочери. Не без взаимности. И, приняв облик нильгау, они сошлись. Нехорошо это, вздохнули боги сверху, ох нехорошо, Брахма...

Казалось бы, все о них известно. Тем не менее, как это нередко бывает, обманчиво близкое и привычное оказывается по-настоящему так и не увиденным. И вот я подумал о фильме, если повезет приблизиться к ним – день за днем, настолько, чтобы войти в их мир. Договорился с Сурией, что приеду на месяц или больше. Но в последний момент, как это уже случилось у нас с Таей, восстановили связь, встретились в аэропорту и полетели вместе.

В джунгли ходили, как и в первый приезд, то вдвоем, то я один, а она оставалась в доме – перевести дыхание. Или съездить в ближнюю деревушку Хигни за продуктами. Но главное – дать мне побыть одному в лесу. Мягче, терпимее стали друг к другу. Но и какое-то чувство тоски, печали, мягкого прощального света, что ли. В этом почти понимании, бережности друг к другу. Какая-то ноющая безысходность. Или только казалось так временами.

Подобраться к нильгау ближе сотни метров, если не на джипе, очень непросто, а будучи потревоженными, они уносятся за горизонт. Я же мечтал приблизиться на считанные шаги. День за днем. Выходя еще затемно, чтобы пробраться в заповедник незамеченным, и дальше – вдоль озера до первого луга, где можно было сделать привал. На этих привалах я иногда включал камеру и, пока перекусывал, что-то рассказывал – вроде как сам себе, но и некоему незримому собеседнику. А по лесу шел и снимал молча, особенно когда подбирался близко к животным.

На третий день, к тому времени сняв уже несколько часов лесного дневника, и даже семью нильгау, правда, с большого расстояния, я присел на ближнем луге под избранным деревцем с уже обустроенной засадой и хорошим видом.

С лесного холма за моей спиной к этому часу обычно выходит к озеру стадо нильгау. День чуть в дымке, где-то под тридцать градусов, но у озера ветерок, легче. Удод прилетел, инспектирует мою засаду, что-то нашел под ветками. Сейчас, говорят, десять тигров в этом небольшом лесу, и двадцать леопардов. И много медведей-губачей пришло, эти аутисты поопасней тигров. Уткнувшись в землю, медведь не видит тебя, а потом уж поздно, он от неожиданности становится агрессивен. А так – милый вегетарианец, с добавкой термитов и муравьев.

Однажды на закате возвращались с Таей из джунглей, подходим к этому лугу, а там семья нильгау вдаль пасется, но ближе не подойти – открытое пространство с редкими деревьями, а между ними – низкорослый колючий кустарник. Может, попробуем? Нет, говорит, я тебя тут в тени подожду. Встал я на четвереньки и двинулся, камера волочится по земле, прихватил шлейку зубами, чтоб повыше была, и так передвигаюсь, морщась от шипов – тьмы их, этих ненасытных кинжальчиков. Стелюсь вровень кустарнику и осторожно выпрямляюсь, прижавшись к дереву, смотрю: далеко еще, но пока меня еще не заметили, пасутся. И снова стелюсь в траве, выглядывая, замирая, уже весь усеян этими шипами, о коленях можно только догадываться, кровоточат сквозь штанины. Подумал тогда: ни к одной женщине так не полз на коленях. Потом, вернувшись к Тае, выдергивали эти колючки – она из моей снятой одежды, я – из тела.

А в другой раз по ту сторону озера выхожу из леса к лугу, где пасутся большие стада нильгау, оленей и несколько семей кабанчиков. Ближе не подобраться, но между мной и лугом резвится стая лангуров. И вот решил я прикинуться лангуром и, пригнувшись, помчался длинными прыжками, вскидывая и подволакивая под себя руку, как они. И так приближаюсь к оленям и нильгау, а они, бросив пастись, удивленно всматриваются, пытаюсь понять, кто же это, что происходит, но и не подавая сигнал тревоги. Обернулся: лангуры провожают взглядом – мол, ничего, дружище, нормально для первого раза.

В один из дней мы убрели с Таей далеко вдоль озера и оказались в лесу, не похожем ни на что из прежде здесь виденного.

Вроде бы ничего уж такого необычайного: деревья-великаны среди разночинной поросли, перекрученные занавеси лиан, под прихотливым углом уходящих в непроглядную высь, русла ручьев, заваленные валунами, грязевые ванны с испещренными следами зверей подходами, солнечные лучи, вяжущие на спицах этот тенистый сумрак. Лангуры, сидящие по одному на пригорках, как в театре, держа в руках незримые программки, медитативно глядящие то ли в них, то ли в линии своих ладоней. Олени, вдруг появляющиеся и оставляющие по своему исчезновению призрачно колеблющуюся полость, чуть темней воздуха. Кабанчики, опустив головы к земле, семенящие стороной небольшими отрядами. Самцы нильгау, стоящие под деревьями, глядя вдаль... И – уже через несколько минут – никого в лесу, будто необитаем, тишь, только огромные бабочки, как листья, кружась, опадают с деревьев.

И вдруг лес оглашается неземной трелью. Кто же это? Кто там так изнемогает от любви? Где эти моцарты нежной страсти? Кто это повторяет там на все голоса: я люблю тебя, я люблю

тебя, я тебя так люблю, как никто еще в этих джунглях не любил! Ах, вот это кто! Дендрасита вагабунда! Коричневая индийская сорока. Надо же, кто б мог подумать. Двое их там на ветке – он и она. И признаются друг другу попеременно, прям с подскоком от избытка чувств, такая любовь!

В том дальнем баснословном лесу есть отдельно стоящее большое, почти сухое дерево, раскинувшее в небе еще живые руки, а тело оплетено и выпито лианами. На высоте нашего роста в нем разветвление стволов и удобное седло для наблюдений за округой. Тая облюбовала его. Порой я оставлял ее там, отлучаясь на берег озера поснимать нильгау. В одну из таких моих отлучек у нее произошла дивная встреча с оленем-великаном. Она тихо сидела там на дереве в засаде, еще и обустроив ее ветками перед собой, чтобы ее было меньше заметно. Полуденный час, лес кажется пустынным, звери пережидают зной в чаще. И тут он выходит, огромный, старый, весь в шрамах, но все еще крепкий. Одиноким, давно и навсегда уж без семьи, без женщин. Темно-коричневый, с большими ветвистыми рогами. Подходит к грязевой луже, рядом с которой на дереве сидит Тая, поворачивает к ней голову и долго смотрит ей в лицо. Расстояние между ними несколько шагов. Удивительно – не бежит, напротив – кивает головой, смотрит и кивает. И, как она потом рассказывала: я не знала, что делать, и тоже невольно начинаю ему кивать. А он ложится в эту грязевую лужу и неторопливо принимает свои ванны, временами запрокидывая голову и таким до невозможности человеческим глазом глядя на нее. Человечим, заколдованным... А потом стоит перед ней – грязный, старый, великий и прекрасный. Пригибает голову к земле, и что-то чертит – вначале одним рогом, потом другим... Что же, спрашиваю, – ты прочла?

Такая встреча была у нее. А у меня в это же время происходила другая – у озера, куда вышла семья нильгау, только женщины – с детьми и без. И вот одна из них, цвета дюны в облачный день, длинноногая, с тонкой высокой шеей и удлинненным лицом, чуть матовым, как на старинных гобеленах, подняла голову и начала вглядываться в ту сторону, где я стоял вдали за деревом, невидим для нее. Долго смотрела, потом подошла к рукаву озера и поплыла. В мою сторону. Оставив на берегу семью, ребенка, не оглядываясь на них. И, выйдя из воды в прибрежную осоку, неторопливо близилась, вдруг замирая и будто о чем-то задумываясь, выбывая из времени, шла сквозь эту тонкую сухую, дюреровской иглой написанную траву, и вновь замирала. А я стоял на пригорке, вжавшись спиной в колючий куст, и хотя понимал, что она идет не ко мне, даже когда остановилась напротив и повернула ко мне голову – вряд ли меня видела, но чувство было такое, что незримая нить так натянута между нами, что ничем ее не оборвать. И не объяснить. Не видела меня – и не сводила глаз. И длилось это нестерпимо долго. Такого опыта у меня никогда не было – совершенно недвижно стоять в течение часа с камерой у лица. Которую потом уже опустил и просто стоял, смотрел, как и она на меня. Оба не шелохнувшись. Кости ныли, казалось, очертанья наши уже никогда не отомрут. И тут что-то дрогнуло в ней, обмякла, и так же задумчиво побрела по воде обратно. Что же она хотела, почему перебралась на эту сторону и стояла напротив меня – видя-не-видя? Какой-то в этом был знак, сообщение. Таким и осталось. Лишь нить.

У нее с ним, у меня с ней.

Дронго вспорхнула, похожа на ласточку, черная. Медсестры лесные, сядет на нос нильгау, осматривает, чистит кожу, а тот терпит. И так по всему телу. Дронго, говорят, знает около пятидесяти языков других птиц и животных и обладает когнитивными способностями, близкими к нашим.

Вот так идешь по лесу и думаешь, а где же звери, как бы так исхитриться увидеть, а в это самое время лес полон глаз, следящих за тобой. И слон в десяти шагах стоит в зарослях, и тигр меж веток глядит на тебя в упор, а ты ни сном ни духом. Хорошо еще, если днем. Ночью тут другие законы. Был у нас этот опыт с Таей.

Красноголовый дятел выглянул из-за ствола. Зеленых я видел тут, а красного впервые. Сунул в дупло голову: что там? Ничего особенного.

Олени вышли на луг. Казалось бы, просто олешки пятнистые, или, как их называют индийцы: читал. Кто их читал, кто их писал этой детской божьей рукой? Я помню этот белый карандаш в детстве, особый, и с какой любовью, но странной, к нему тянулась рука... Могу представить, как старательно-самозабвенно он рисовал эти белые крапинки на только что созданных им олешках, на бежевых сорочках барышень и камзолах юношей с замшевыми деревцами на головах. И как непросто было достичь у них этой мягкой линии губ между чувственностью и сдержанностью. Вчера наблюдал за одним юниором, стоявшим чуть в стороне от стада и упражнявшимся в подаче сигнала тревоги. Отрывисто вскрикивал, усердствуя в выражении лица, и притопывал передней ногой. С каждым разом у него получалось все лучше, и наконец он довел это, казалось бы, до совершенства, и оборачивался к стаду, которое должно было при этом сигнале броситься врассыпную, но никто не поворачивал к нему головы, продолжая пощипывать траву и общаться друг с другом. Так и стоял этот пионер растерянно и одиноко на пригорке, не понимая: как же так, и где кончается искусство и дышит почва и судьба? Это знают павлины, но в мае, а сейчас январь, рано еще. На хинди павлин – маюр, самочки маюров кричат, как вакханки в предчувствии растерзанных дней, но еще не вечер. В этом стаде оленей бродит одинокий байрон, прихрамывая на переднюю левую. Чувствуя себя другим. И женщины нет с ним.

Пора было возвращаться. Да, провалил явку. Сидел ведь тише травы, ждал, когда стадо нильгау появится, а оно запаздывало, солнце уже садилось. И тут вдруг, в ложбине за моей спиной, какой-то звук, похожий на хрюканье, и стихло. Я выждал. Приподнялся, дурень, выглянул – а это стадо нильгау вышло – прямо ко мне, и подымалось из ложбины, ветка под ногой у кого-то из них хрустнула. Большое стадо. В нескольких шагах. Мечта невозможная. И свет такой чудесный, закатный, как раз по солнцу для съемки. Кинулись наутек, несколько секунд – и тишь. Ах, беда, беда. Испуганы, да и запомнили меня и место. Не меньше недели теперь у этой засады смысла не будет. Надо завтра идти на дальние луга искать другое стадо.

К вечеру седьмого дня, уже на обратном пути, присел под тем же деревцем. Включил камеру. Неподалеку паслись пятнистые олени, но они не настолько пугливы, чтобы встревожиться от моего голоса, главное – не делать резких движений. А я и не делаю, неторопливо макаю зеленый лучок в соль, потом яйцо, помидор... Что-то наговариваю, надеясь, что для будущего фильма – книга джунглей, онлайн – может, пригодится.

Что ж сказать? Только что на луг выходили нильгау, ждал их, сидя почти недвижно в этой засаде. И все-таки учуяли. Самка, которая шла впереди, повернула голову ко мне и все смотрела, вглядывалась... Ну не могла она на таком расстоянии меня увидеть за ветками, но нет, вскрикнула, и все опрометью кинулись в чащу. Там и самец был среди них, чуть в стороне. Невероятное создание, последний свидетель рая. Туда и смотрит, вдруг замирая на часы, туда – сквозь опадающие, как листва с дерева над ним, дни. Единорог из книг средневековья. Абрис его и мир – явлен и непрогляден.

Только здесь, в лесу, да и то – спустя дни, месяцы понемногу начинает размыкаться твой контур. И ты – уже не совсем ты, а и вон то дерево, стадо оленей, облако, озеро, и когда все это начинает дышать в тебе, когда понимание... хотя о каком понимании может идти речь? Лишь отсвет того, что куда больше тебя, хотя и известно вот этой траве под ногой. Но и этого отсвета хватает, чтобы исподволь, незаметно – нет, не родить тебя наново, но затеплить в тебе то, ради чего ты здесь. И где-то в углу сердца начинает звенеть сверчок счастья, и ты как ребенок светел, но и темен еще как человек, и речь просится взять ее с собой. Но все, что ты пытаешься сказать или снять на камеру, сторонится всего, что не от жизни, а от речи.

Так меня порой заносило в возвышенное. Ну и ладно, не страшно. Лангур всполошился, низкий, грудной отрывистый голос, что-то его встревожило. Может, медведь? Или дхоли, красные волки?

Наверное, многое из детства тянется. Отец рассказывал, что я не раз сбежал из детского сада, связывал сандалии, перекидывал через плечо – где-то я подсмотрел эту картинку – и шел открывать миры. Разыскивали с милицией, находили к вечеру бог знает где. И эта тяга к странствиям не утолялась, росла, вот и здесь я, в общем-то, с теми же незримыми сандалиями за плечом. Да и школу я тоже прогулял на треть – несло меня какими-то товарняками по Сибири, кораблями на Север, на осле в Средней Азии, на резиновой лодке с парусом море переплывать, шататься в тайге, потом жизнь в пещерах, занятия спелеологией и бесконечные походы, походы, лес... А потом был долгий перерыв – города, люди, книги. И вдруг открылась волшебная дверь в Индию. К сожалению, это, похоже, последний меркнувший свет. Тут около трехсот заповедников, но таких, чтобы можно было ходить в лес самовольно, почти не осталось. А без этого и жизни нет. Для меня. Трудно об этом говорить. Еще и потому, что предполагает в собеседнике какую-то долю созвучного опыта, тогда понятно, о чем речь, и можно опускать какие-то звенья, иначе этим частоколом словесным ничего не выстроить. Сближение с миром, похоже, не происходит без растождествления в себе человеческого. Хотя бы отчасти. Но хватает и этого. Ты вроде бы тот же, что и был. Радуйся, вот твой мир. И нет никого – ни в тебе, ни вокруг. И уже не вернуться.

Большая стая зеленых лесных попугаев прилетела, села на соседнее дерево. У всех шапочки малиновые, а у одного сизая, с чего бы?

Лес тут волшебный, как в светлой страшной сказке. Многослойный, со странствующими ландшафтами, вавилоном деревьев – и юных, подрагивающих на ветру, и недвижных великанов в десять обхватов, и этой желтой тигриной травой с белеющими в глубине обглоданными жизнями, с озером, меняющим облик дюжину раз на дню.

Думаем, это только у нас, у людей, миры ворочаются, Наташа Ростова, князь Мышкин, отцы и дети... Вчера из зарослей, прямо рядом со мной, вышли два брата – высокие, с ветвистыми, раскинутыми в два неба рогами, с чуткими аристократичными ноздрями и тонкими, едва заметными улыбками, а глаза глядят одновременно в шесть сторон света. И вот они отдаляются друг от друга, расходятся по стаду, где собратья им до плеча, а нити зрения между ними незримо натянуты: как бы они ни повернулись – видят друг друга. Они показывают себя, свой статус, и женщины это чувствуют, и всякий раз перегруппировывается это едва уловимое любовное пространство: вот этот брат с той дальней барышней, через головы трех подружек, и – нет ее, уже другая траектория искушений. А чуть в стороне двое юношей меряются силами, сталкиваясь лбами, и роют землю копытом друг перед другом, поглядывая на барышень, а те делают вид, что не видят. Все они видят, а ближняя показывает всем: это они передо мной, для меня! И так думает каждая, но проявляет по-своему.

Или там, по ту сторону озера, четыре года назад, на райском лугу, где сотни пятнистых оленей, кабанчиков, нильгау, а посреди луга – грязевая яма, целебная, для гигиены, и большой умбристый олень самбар, или, как их еще называют, замбар, меняющий цвет от освещения с почти черного до светло-карего, с двумя раскидистыми рогами о шести ветках каждый, выходит из этой ямы, вдоволь навалывшись там, грязь с него стекает, подсыхая колтунами в шерсти, весь неузнаваем. И приближается к женщинам, предлагает себя. А чуть поодаль двое из них начинают его пародировать, игриво совокупляясь. Одна в роли мужчины, другая женщины. И надо было видеть, как он реагировал, как уворачивался, чтоб не глядеть... и не мог! Как, виновато пританцовывая, подходил к ним, опускался на колени, взрыхлял рогами землю у их ног, а они потешались, пировали ироничную радость, а потом как бы нехотя уступали ему и в последний момент уворачивались от притязаний. Какая удивительная была по протяженной многослойности сцена! По направлению к Свану. И это здесь на каждом шагу. Если видеть.

И у бабочек, если приблизиться настолько, чтобы отчасти стать ими. Потому что тантра – это ведь не эзотерические па, а любовное узнавание себя в другом. Будь то бабочка, огонь или воздух. И когда дается эта благодать, понимаешь, что ничего, кроме благодарности – выше головы, именно что выше – у тебя нет.

#9. Ее имена

Индия – это первослон, память, трогающий хоботом останки сородичей, пыль и печаль родства. Это слон макна – исполин без бивней, валящий в поединках соперников, как солому, и уходящий в слезах, оставляющих на лице траншеи. Это низкие частоты голоса, недоступные нашему слуху, их слышат ступней. Это мать впереди земли, и сестры. Это ход тише бабочки в гомоне леса. Это слоненок, путающийся в пяти ногах. Это трудная связь иного с человеком, но все еще связь. Это Ганеша.

Индия – королевская кобра, та, что вьет гнездо для родов, как птица. Та, что ест соплеменниц. Та, в которой пять метров яда, но сделает все, чтоб уйти от конфликта с чужеродным. Та, что, взметнувшись к лицу человека, будет стоять, глядя в глаза и по губам читая все, кем ты был и уже не будешь. Это Наг.

Индия – это умбристый олень самбар, у которого на груди проступает пятно – мокрое, неизъяснимое, словно кровоточащее, как стигмат. И особенно у взрослеющих женищин. Это Лахими.

Индия – это тигр, царь. Тот, кто живет один. Тающий как закат, последний. И тот, кто стоит в ступоре, глядя поверх растерзанного человека, не понимая, как это случилось, но чувствуя, что уже никогда не вернуться в свои очертанья.

Индия – это нильгау, голубой призрак, в профиль похожий на единорога. В брачных турнирах самцы опускаются на колени и чокаются лбами. Это Нанди.

Индия – черная пантера, неприручаемая. Холодная ярость и «презрение к огнестрельному оружию», как на знамени Лермонтова. Это Кали.

Индия – это лангур с лицом из сгоревшей бумаги и лампадками глаз, сидящий недвижно на ветке, медитируя на заходящее солнце. Хануман.

Индия – это птица-носорог, та, что летит долгими взмахами, скрипя уключинами, или как сказочный раскладной диван. И держит инопланетную ягодку в желтом полумесяце клюва. А потом замуровывает свою суженую в дупле дерева, оставляя крохотное окошко для свиданий и передач. И если что случается с ним – ни ей, ни детям его уже не выбратся. Гаруда.

Индия – это баньян, где ветви уходят и в небо, и в землю, и в стороны света и тьмы, переплетаясь и образуя роуцу как мир без центра и края, как круговую поруку родства: тат твам аси, саб куч милега – ты есть то, и все возможно. Тримурти.

Индия – это Маугли, в начале времен увидевший у ручья – ее, наполнявшую кувшин, ту, у которой имен было больше, чем капель в ручье: Шакти, Дурга, Сарасвати, Сати... и ушедший за ней, покинув лес и создав то, что мы назовем индуизмом.

#10. Почта

– Ты, по сути, ушел в монастырь – лучший из возможных, и благодать с тобой. А противоречие в том, что из монастыря не приходят в мир, не пытаются разделить свой метафизический опыт с «до востребования», и не может здесь быть соучастников, да и зрителей много быть не может. Это одиночный путь, его даже вдвоем невозможно проделать, потому что да, он требует отказа от мира, аскезы, а наградой – свобода и счастье. Этот разговор многое делает понятным – главным образом, в отношении твоего возможного будущего. Непонятно одно: о

каких же ты собеседниках сетуешь, если, по сути, они давно тебе не нужны. Все твое там: и дом, и родина, и семья. Осталось сделать последний шаг – завершить все мирские дела здесь. Но думаю, что пытаться как-то сблизить и свести эти два мира – ошибка.

– Как удивительно и уже давно не: в ту самую секунду, как звякнуло твое письмо, я отправил в фб вот это: «Об этом нельзя говорить. И здесь, и вообще. Сказал бы мне кто-нибудь лет пятнадцать назад, куда меня занесет, я б не поверил. Не с кем говорить о по-настоящему важном, ближайшем. В своей культуре, на родном языке не с кем. Так меня исподволь отнесло от этих берегов и несет все дальше. Чтоб находить мнимый приют этим чувствам и речи где-то на краю света, в безмолвии, с чужими людьми, которые ближе сердца. И в этом все твое счастье с прикрытыми глазами, зная, что открой их – и все далеко не так. Но и не вернуться уже к тем берегам, где ты жил литературой и был среди подобных себе таким – как это будет по-русски? – коммуникабельным. Что же ты говоришь, уже не с собой даже (а с кем?), когда давно уже смысл покинул тебя вместе с вопросом «кто ты?». Детский парадокс в том, что чем больше ты с миром, тем меньше с людьми. И ведь все это будет еще расти и расти». Все так, любя, как ты говоришь, и было бы совсем так, если бы за всем этим «счастьем» не стояла едва прикрытая им отчаянная горечь и почти безысходность в этом движении спиной вперед...

#11. Перешептывающиеся окна

Годом раньше, перемещаясь из Харнай на юг, добрались до Тамилнада. Казалось, впереди необъятная жизнь, вот и имя ее – Масинагуди, деревушка в тигрином заповеднике Мудумалаи, земля дравидов, голубые горы Нилгири.

Сняли жилье у самой кромки джунглей и озера, к которому выходили слоны, медведи и другие обитатели леса, а само озеро было облюбовано колонией аистов-епископов, сидевших на высоких, с четырехэтажный дом, кустах бамбука, которые вихрасто расходились перевернутым конусом к небу, но чаще наоборот, образуя интровертные пирамиды, а то и объединяя обе фигуры в виде песочных часов. Этой бамбуковой симфонией было оторочено все озеро с тенистыми прогалами, где звери выходили к воде.

Змей, несмотря на воду и заболоченность, благодаря аистам там не было. Ну почти. Однажды в шаге от меня вскинулась кобра, но тут же скользнула под куст. Еще разок нам с Таей переползла дорогу крысиная змея, метра два с половиной, а может, это была и кобра, хотя великовата для нее, быстро скрылась, не успели определить. Я потом полез в кусты, пытаюсь ее обнаружить, Тая ненастойчиво удерживала, зная, что бесполезно – не в первый раз.

Там, за нашей спиной, стоит ближний к озеру, но все же поодаль от него, курортный комплекс, всегда пустынный, называется «Перешептывающиеся окна». Пальмы, сказочный сад, роскошные номера, фигуры будд и индуистских богов под деревьями. Прихрамывающий сторож и семенящий за ним карликовый бульдог по кличке Зеро. Сторожа, оказалось, недавно цапнула гадюка Рассела, одна из самых ядовитых змей. Их немало тут. Третья, по числу смертей, после кобры и крайта. Но в отличие от них агрессивна – не уползает, заслышав приближение, а затаивается и бросается без предупреждения. Такую полутораметровую гадюку вытащил из-под крыльца Праба – тот, к которому мы переселились, на его крыльце мы любили сидеть, завтракая или просто созерцая дали. Выволок и убил. Потому как трое детей у него, и все босиком бегают, да и Праба с женой своей, красавицей Ладой, учительницей английского, тоже не в ботинках. Как и мы с Таей. Конечно, так нельзя. В каждой деревне есть змеелов или сообщество добровольцев. Обнаружив змею у себя в доме, люди знают, кому позвонить, чтобы поймали и выпустили в лес. Обычно змееловы совмещают это с основной работой. В Харнай это портной на рыночной улочке, чья лавка сразу за закусочной нашего друга Баблу. В Боре, на хуторе – школьный учитель.

Здесь, в Масинагуди, змеелова зовут Мурли, напористо-жизнерадостный парень, которого змеи непрерывно кусают, его увозят в больничку, а через несколько дней он возвращается и, поймав очередную, демонстративно разгуливает с ней и с песнями по деревне, изображая натруженного подвигами героя. И несет ее выпустить в лес, и снова его увозят в больничку. К нам с Таей, когда мы жили у Рахуля, он пришел с коброй и вытряхнул ее из мешка к нашим ногам, мы как раз завтракали на веранде. За ним во двор потянулась ватага детей. Он напказ устраивал танцы с ней, но она с неприятием уклонялась. Кстати, и эта его цапнула, когда выпускал в лесу, видимо, напоследок решив ответить ему белым танцем. Мурли на хинди – флейта.

Того сторожа из «Перешептывающихся окон» укусила за мизинец ноги гадюка Рассела, когда он ночью обходил территорию. После ее укуса у человека есть минут сорок или немногим больше. Ночь, безлюдная окраина деревни, он один, не считая Зеро. В самой деревне только медпункт для бедных, там сыворотки нет, надо везти в Гудулур, это часа полтора-два, или в Гундальпет, который в соседнем штате. Месяц спустя сторож вернулся, прихрамывает, размотал бинт, показывает мне черный древесный палец. Ничего, говорит, пройдет. То есть по-английски он ни слова, все жестами. А что за змея, спрашиваю. Он рисует палочкой на земле, Зеро обнюхивает. Он отгоняет его и дорисовывает овальные пятна на коже. А, говорю, понятно.

Однажды в этих безлюдных «Перешептывающихся окнах» мы с Таей, когда к Прабе гости приехали и нам нужно было ночь где-то перекантоваться, сняли номер. А перед тем я звоню хозяину, некоему махарадже, живущему в Ути в своем дворце, договариваюсь о цене, пытаюсь снизить, но он велеречиво так уводит разговор – туда, сюда, о жизни, о рисе, о женщинах, о доблестях, и опять о цене, и все никак. Сидит там во дворце, помахивая опахалом, танцовщицы девадаси перед ним струятся, ситар звучит, павлины разгуливают. Вы же поэт, говорит, то есть кавита, любимец богов, Хаям, Калидаса, почти Вальмики, что вам стоит набросить эти несчастные пару тысяч рупий для ничтожного шудры, даром что махараджа. И слышу – всхлипывает, войдя в роль. Потом высморкался и, поглубевшим голосом: ладно, недобрый человек, набрось хоть полторы, разделим страданье.

В том номере, наверно, годы никто не жил. Пятиметровая высота – нет, не потолка, а матового купола. Внизу в полутьме высилась царственная кровать с мерцающими огнями по периметру. Огромная ванная комната с – невероятно для Индии – чугунной ванной на звериных лапах. Всюду лежала вековая пыль. Внесли вещи, прикрыли дверь, я посмотрел на Таю, и мне вдруг так нестерпимо захотелось ее обнять, и не только, не только. Да, конечно, это уже бывало тысячу раз, но в этот происходило что-то необычайное. И ни номер здесь ни при чем, ни окна эти перешептывающиеся. Так нестерпимо, так губительно, так до ослепления нежно. Не похоть, не страсть, не любовь даже. Нет, не исчезнуть в ней, не родиться... Стоит спиной ко мне, вещички раскладывает, обернулась: что-то не так? И такое лицо родное, невозможное, и такое красивое – как нельзя людям. И сквозящий холодок, тянущийся по ногам. А мы куда-то торопились тогда, считанные минуты были, но куда? Не помню, да и куда можно было там торопиться? Вот эти считанные и стали теми, от которых стареют, сгорают – может, так и случилось, но от тела ее еще исходило свечение, и она, приходя в себя, растерянно озиралась, собирая одежду, разбросанную на полу, и тихонечко приговаривая: как странно, каждый раз у нас будто в первый... и в последний. Все эти годы. Дверь закрыли и, чуть растерянные, вышли в другую жизнь. Через перешептывающиеся окна.

#12. Амман

Сидел в саду, приводил ногти в порядок, что-то я запустил себя с этими ежедневными джунглями, Тая еще спала, низко кружил черный коршун, над ним тянулась к озерцу вере-

ница аистов-епископов. Лесная белка замерла у ног, заинтересовавшись поблескиванием ножиц. Из деревни доносился отдаленный бой барабанов. Стриг ногти и вспоминал, как в юности кочевал с цыганами. Стояли лагерем у безлюдного полустанка в Туркмении, ждали куций трехвагонный поезд, пересекавший пустыню раз в неделю. Ей было пятнадцать, кажется. Ни слов, ни прикосновений, только краткие взгляды, в которых и жили, на большее не хватало сил, и тихо сходили с ума, даже во тьме видя друг друга, как днем. А потом мы сидели с бароном в дальнем конце вагона, где расположился их маленький табор, разговаривали. Я просил ее руки. Его условием было, чтобы я остался в таборе навсегда. Не уверен, что он говорил серьезно, но тогда, в течение этих нескольких дней, пока шел поезд, я мучительно жил этим – то решаясь, то отступая. И сейчас, вдруг вспомнив об этом, подумал: что-то в ней было от Таи, ранней, призрачной, почти невидимой в той цыганке, чье лицо теперь уже и не вспомнить, только чувство.

Бой барабанов доносился все ближе. Пришел Праба, спросил его, что там происходит. Амман, говорит, начался, разве не знаешь? Знаю, но ведь рано еще, вроде бы через две недели. Нет, говорит, это в прошлом году так, а в этом по лунному календарю – сегодня.

Годом раньше я уже был на мистерии Амман в Бокапураме. Но тогда пропустил начало и финал. Взял камеру, поспешил в деревню. Там всего одна улочка, спускающаяся к речке, за которой джунгли, заповедник. Они шли сверху, группами по двадцать-тридцать человек, с расстоянием в сотню шагов. Мужчины, женщины, дети, пританцовывая, неся на головах тяжелые цветочные пирамиды в металлических горшках, мурти богини Амман. У многих щеки проткнуты спицей или тришулой – трезубцем Шивы. У других – приоткрытый рот заткнут лаймом, одним из символов богини. Или просто пучок листьев бетеля, торчащий изо рта. Шли уже не первый день и ночь. С музыкантами и барабанщиками, которые колошматили так, что не было видно рук, и, замедляясь, отращивали их.

Вернулся к Тае, подзарядили батареи в камерах, взяли запасные, едем в Бокапурам, может, говорю, останемся на ночь. Автобусы переполнены, дорога лесная, однополосная, пробка, вышли на полпути, идем с паломниками по заповеднику, полиция держит периметр – видимо, от слонов и других животных, на случай.

Култ Амман, или, как ее еще называют, Мариамман, не так на виду, как култ Шивы, Вишну, Ханумана, Ганеши и многих других. Возможно, еще и потому, что култ это низовой, народный, и не очень поддерживался браминской традицией. Соответственно, не попадал в активное поле внимания за пределами Индии. Амма – мать, мари – дождь, а при другом ударе – смерть. На заре индуизма этот култ, вероятно, как-то переплетался с ним, отсюда взаимовлияние Амман и Дурги, сидящей на тигрице, и, конечно, Амман и Шакти. В Тамилнаде тысячи храмов Амман и миллионы ее последователей. Еще недавно этот обрядовый праздник проходил более аутентично, сейчас к нему присосежена бурная ярмарка – колесо обозрения, передвижной цирк, аттракционы, полевые кухни, еда, сласти, ремесленники с товаром, шарлатаны с попугаями и прочее. Казалось бы, в таком профанном пространстве этот сложный, требующий огромных физических и душевных сил ритуал должен неминуемо утрачивать свою глубину, но нет – прямо посреди ярмарки, в ее гомоне, непрерывно идет сосредоточенная духовная работа, включая радикальные практики на пределе сил.

Шли с Таей в толпе паломников, я рассказывал ей то немногое, что знал. Вернее, что помнил из разрозненного. Когда-то, говорят, не возводилось храмов этой богине, просто посреди деревни насыпали небольшой холм в виде ее головы, украшали желтыми бархатцами, и телом Амман становилась вся деревня с ее жителями. Вот такой живой храм, где каждый человек, куст, дом – часть Амман, так оно во многом и осталось до наших дней, такие храмы наряду с каменными еще можно видеть повсюду.

Цветочные пирамиды на головах – своего рода ноша, называется кавади, а ритуал инициации – карага. Щеки вместе с языком проткнуты трезубцем Шивы, и лайм во рту – знак без-

молвного повиновения богине. Некоторые обуты в деревянные колодки с гвоздями острием вверх.

Деревенские общины будут в течение трех дней и ночей ходить вокруг храма под бой барабанов в трансовом танце, прерываясь для истязаний кнутом. Для этого в каждой общине есть человек для этой роли. Становятся в круг и под особый бой барабанов по одному выходят в центр, где получают удары развихриваемым в руке медиума кнутом. И мужчины, и женщины, и даже дети. Количество и сила ударов зависят от наносящего их. При этом руки у подверженных испытанию подняты, жестом ладоней они дают понять: бей еще, я держу контроль, я держусь! Удары наносятся по ногам и пояснице. Сильные, в некоторых случаях до крови. И это повторяется примерно через каждый час в течение трех суток. Никаких наркотических снадобий во время ритуала никто из них не принимает.

Начинается праздник с коллективной пуджи. Потом дневной и ночной трансовый танец с истязанием кнутом. На третий день мурти богини выносят в паланкине из храма и осыпают шквалом рисовой сечки. А в ночь зажигают огни в горшочках и несут их на головах под бой барабанов. Утром четвертого дня процессия движется в джунгли к священному месту, перед ними на землю ложатся ничком те, кто нуждается в исцеляющем благословении Амман. Идущие касаются голой ступней их спин. Это то, что я не видел в прошлом году. У священного дерева, на веками намоленной поляне совершается выход из транса, из одной реальности в эту, здешнюю. В стороне забивают и разделявают жертвенных козлов. Ставят на костры огромные чаны. Завершается все у лесного храмового шалаша с музыкой и общей трапезой на полтысячи человек.

Понятно, что это не отсвет каких-то изначальных верований, не пережиток, ставший неким театрализованным календарным событием, вроде нашей Масленицы или дня Купалы. Похоже, это происходит ровно так, как и тысячи лет назад. Для них это не ритуал в нашем понимании, а самая что ни на есть реальность – такая же очевидная, как собственная кожа. И Амман – не где-то в трансцендентном, а здесь, в этой боли от ударов кнута, которым испытывает их Шива и черная Кали, одна из ипостасей Амман, испытывает через медиума, проводящего через себя ее энергию. Она, Амман, в пятках и пальцах ног, которыми касаются распростертых на земле взрослых и детей ставшие проводниками ее энергии мужчины и женщины, прошедшие этот изнурительный и очищающий ритуал, кто выстоял в этой магической инициации, кто стал с ней единым.

Конечно, не все и не этими словами я ей говорил, идя в бурной толпе паломников в уже спустившихся сумерках, отступаясь от слепящих встречных фар и гудящих автобусов, кренящихся в рытвинах обочин. Да и ожидая в ответ на мои слова ее обычное: я знаю. Ну кое-что она и знала, так что особо тут стараться было не нужно. И главное – уже через полчаса она все это увидит сама. Да и я, и все оно будет, конечно, другим.

Легко говорить. На любую тему. Увлеченно и даже порой с ощущением подлинной глубины. Говорить. И может возникнуть иллюзия, что я тут что-то понимаю. Нет, и не обольщаюсь. Наверное, и эти крестьяне не в таких уж тонкостях знают происходящее, но они дома, и дом этот не только снаружи, но и внутри. Можно и помолчать.

Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Что ж тут скажешь? Что понимание вторично? Что знание, по Платону, – припоминание? Что жизнь не интеллигибельна, с ироничным сквознячком гибели в этом слове, а, скорее, коан? Но насколько мы готовы к этому? В любви, в творчестве, в разговорах о трансгрессии...

Как же они называются, эти одержимые женщины, пожизненные девственницы из низшей касты, благословляющие руганью и плевками? Наверно, мы увидим их и здесь – со вселившейся в них Амман.

Ярмарка в разгаре. Толпы, толкотня, не протиснуться. Крутится колесо в огнях, из репродукторов гремит музыка, смешиваясь с боем барабанов. По земляной арене цирка бегут

верблюды и пони, над ними девочка взбирается по канату, в торговых рядах сверкает посуда, ножи, секиры, бижутерия, подсвеченные иллюминацией от тарахтящих генераторов, повсюду жарится, парится и варится на плитах и кострах, многие ходят с красными арбузными ломтями у рта, присоленными по-индийски. Вспомнил: матанги их называют, тех одержимых женщин.

Храм переполнен, на подворье под огромным навесом сидят паломники, поют, прихлопывая в ладоши, за ними – спящие под одеялами. Дальше – шатры, шатры, образующие лабиринт с переулками. Вокруг храма идут с барабанами те же, кого видел в деревне, и другие. Становятся в круг, свист кнута. Молодая, высокая девушка выкручивает себя из земли к небу, кнут ополовинивает ее, она выпрямляется, подает знак: еще, еще! Этот кнутовод, похожий на кузнеца-цыгана с длинными опущенными усами, пышными бакенбардами и залысиной, пригнулся и проворачивается вокруг себя, как воркующий голубь, и, распрямляясь, раскручивает кнут, толпа отступает, освобождая ему пространство. Барабанщики заходятся в дробь. После серии ударов он подходит к девушке, касается ладонями ее ступней, за ним несколько человек из зрителей подбегают к ней и успевают проделать то же. Раскручивает кнут, перед ним уже следующая.

Из-за угла храма появляется другая община, впереди идет рослый худой, с высоко поднятой головой и взглядом, кажущимся стеклянным. Щеки проткнуты длинным – метров пять – трезубцем. Перед ним – смотрящий, он раздвигает толпу, чтобы края трезубца никого не задела. Образуют круг. В круге – он и второй, ему до груди, и трезубец поменьше. Начинают танец: первый, пригнувшись и поддерживая раскинутыми руками трезубец, меряет аршинными шагами пространство вокруг второго, подергивающегося в центре, ниспадающего на колени, тело заваливается назад, затылок касается земли.

В этой же группе – две молодые женщины, они идут в паре. Одна – в сером дыме волос, другая – в смоляных крыльях до плеч, одно из них перекрывает пол-лица. Выгнутый рот и глаз, который, похоже, останется навсегда в моей памяти. Глаз, глядящий в себя. У первой полные губы, между которыми зажат трезубец, и пятна красной краски на щеках и лбу. Вторая – с тонкими чертами лица, желто-белые пятна, куркума и мел. И смоль волос. Первая – взвинченно приходит в движение, мотая головой, отталкивая от себя руками воздух, и замедляясь, когда энергия кончается. Другая – идет с тихой гипнотичной внутренней сосредоточенностью, но какой-то обреченной. Нет, тебя обрекающей на неотрывный взгляд на нее. Ток от нее исходит. Слабый, еле ощутимый, но кажется, что он куда сильнее того, что убивает. И она это знает и с этим живет. Она, подумал, – смерть и есть, а первая – любовь.

Чуть в стороне, у доморощенного алтарика, встав на колени, распласталась на земле призрачная старуха с седыми ветхими волосами. Руки держит подвернутыми назад и что-то ртом выуживает из земли, принося то одной щекой к ней, то другой. Несколько женщин суетятся вокруг, помогая ей. Обносят ее блюдцем с огнем. Наконец она оборачивается, вывернув голову: изо рта торчит маленький банан, опоясанный беззубым ртом.

Тая фотографирует девочку, блаженненькую, одиноко сидящую поодаль с бритой наголо и окрашенной куркумой головой, она играет на сопелке, верней, извлекает один и тот же жалобный звук. Рядом, но спиной к ней, стоит грузный человек с посохом и пучком травы во рту. На ногах у него деревянные колодки с гвоздями острием вверх. Идет, не сходя с места, перебирая ногами под ритм барабанов.

В центре – мистерия, а по краям внахлест – луна-парк, бурлящий рынок, цирк и бог знает что – одновременно. И за всем этим – десятки шатров, они же маленькие храмы, они же ночлежки, они же... Бой барабанов, свист хлыста. И горбун со светящимся домиком на спине, идущий сквозь расступающуюся толпу.

Тая присела к бородатому факиру в красной рубаше: попугай вразвалку прохаживается перед разложенными перед ним картами судьбы и выбирает твою.

У края ярмарки, за которой начинаются джунгли, развернута полевая кухня с жаровней и котлами, где беспрерывно готовится бесплатная еда для тысяч паломников. Небольшая очередь, быстро обслуживаемая, каждый отходит со своей листованной тарелкой тали. На поляне, освещенной прожектором, в этот час сидело немного – человек триста, в основном семьями. Мы тоже взяли еду, сели на землю, только начали есть, и вдруг – крики, паника, все бегут с поляны. Слон, одинокий самец с большими гнутыми бивнями, стоит у края леса – в том месте, куда бросали мусор и объедки, перебирает хоботом гору листованных тарелок. Набежали полицейские, издали светят на него фонарями, кричат, кидают камни. Он не обращает внимания, отправляет тарелки в рот, но не подряд, выбирает. Таю теснят вместе с последними смельчаками, я увернулся и спрятался в темноте за деревом, снимаю вблизи на камеру. Повар хватается из костра полено и, подбежав к слону, швыряет в его сторону. Тот неторопливо берет последнюю тарелку и уходит.

Нашел Таю, углубились в переулки шатров, там своя жизнь, нас зазывают к себе за пологи. В одном из шатров как раз ужинают, усадили и нас у костра. Две девушки и парень танцуют в дальнем углу под музыку, доносящуюся снаружи. Тая присоединилась к ним, ритм барабанов ускорился, они закружились с пением и вскриками. Если чуть расфокусировать взгляд, уже и не найти среди них Таю – три девушки из племени ирула.

Вернулись к храму. Было уже за полночь, людей становилось все больше. Они зажигали огонь в глиняных горшочках и несли их, подняв над головой – тысячи огней. Все это, смешиваясь с гремющей ярмаркой, похоже на пляшущие перепутанные кольца ада, рая и чистилища, посреди которых вертится горящее колесо сансары. Сели в одну из лодочек колеса, я хотел снять на камеру все это сверху. Тая спросила, скоро ли мы поедем домой, она переполнена, уже через край. Я бы, говорю, остался тут, и не только на эту ночь. Смотри, кроме нас, тут никого пришлых, другого раза не будет, даже если случится, ты же знаешь. Знаю, говорит, ты оставайся, я завтра утром приеду.

Проводил ее, посадил на автобус, отдала мне свою запасную карту памяти для камеры, обнялись во тьме, постояли так, чуть покачиваясь. Найди, говорит, где хоть пару часов подремать, не изнашивайся, впереди еще три дня, я буду рано утром.

Уже начало светать, а я все кружил там, присаживался в лавках попить чаю, перекусить, но вскакивал, оставляя все на столе почти нетронутым, возвращался к храму, в гущу людей, и с какой-то настойчивой частотой сталкивался с теми двумя – любовью и смертью, они все наматывали круги, идя впереди своей группы, хотя многие уже сошли с круга – передохнуть в шатре. В который раз я пытался снять на камеру эту тихую смерть. Любовь рядом с ней взвизгивалась, заходясь, и обессиливала. А эта шла затравленно, но и нестигаемо, с недвижным взглядом и приоткрытыми, чуть выгнутыми, как у Таи, губами, худенькая, как она, с желтыми и белыми пятнами краски на лице, оплывшей от испарины, создающей впечатление какой-то неведомой страны на старинной выцветшей акварели, наполовину закрытой по диагонали черным крылом волос, с этим единственным тихим глазом, в который тебя втягивает всего, со всей твоей жизнью, как в космическую дыру.

Под утро я оказался в шатре, где обосновалась община из Гудулора. Это ближайший к нам городок, куда я ездил менять деньги в турагентстве у Асифа, молодого мусульманина, неизменно сидевшего у экрана компьютера в пустом офисе. Когда-то, впервые зайдя к нему с улицы, я предложил оставить у него двести евро с тем, чтобы он через год помог взять на них билеты на поезд для группы моих друзей. Без всяких расписок, просто оставил, зная его всего десять минут. И никаких общих знакомых, в этом городке я был тогда проездом. Через год написал ему по электронной почте, на следующий день билеты были у меня, а когда еще через полгода я зашел к нему на те же десять минут, он вернул мне сдачу. Это про индийцев. Вернее, про отношения. Или Вики, водитель из Масинагуди – после первой поездки с ним на его джипе я дал ему, сколько он назвал. Хотел сказать ему, что это многовато, и уже открыл

рот, но передумал, остался только взгляд. Наутро он пришел ко мне, говорит, что не спал, что на душе нехорошо у него, вот лишние деньги, которые он взял. Вики. Он привезет Таю через пару часов, я позвонил ему с вечера.

Надо немного вздремнуть, вот здесь, рядом с барабанами, сложенными в углу. Говорят, что в глубинке слишком навязчивый интерес к туристам. Ровно наоборот. Чем дальше от туристических мест, тем целомудренней отношение. Шатер, ночь, джунгли, заповедник, Амман, многие тут вообще в настолько другом измерении, что и себя не сразу признают, а тут марсианин входит к ним в шатер, где спят, едят, баюкают детей... И что? Хоть бы кто навязчиво посмотрел в мою сторону. Или пытался завести разговор. Нет, только незаметно поставили чашку чая рядом. Но если б дал им понять, что нуждаюсь в общении, уж точно в отклике не было недостатка. А так – кивнул, сел в углу, а теперь и прилег уже, прикрыл глаза.

Из нескольких часов съемки, похоже, есть минут десять стоящих. Это немало. При том что снимать в такой толчее почти невозможно, еще и в полутьме и лучах прожекторов, направленных в объектив, куда ни повернись.

Бархатцы повсюду рассыпаны на земляном полу, веснушки Амман. Странно, но я так редко дарил ей цветы. Несколько раз в Севилье, Мюнхене, где-то еще порывался, но как-то она удерживала, и потом – все время дорога, переезды. Как маленький стоп-сигнал мигает в памяти. Темно-красная роза, которой нет. И лежащая спиной к ней Тая, полупроявленная под простынкой... В тот год мы решили попробовать добраться из Харнай до Мумбаи вдоль океана. Рыбаки отговаривали нас – дороги смыты сезонами дождей, сообщение лишь между ближайшими деревнями, и то не всюду. Но я думал: всего-то двести с лишним километров и пять дней до нашего самолета, уж наверное доберемся. Едва успели. При том что ехали и ехали дни напролет, переправлялись бесконечными паромными, ждали попутков в пропаще безлюдных краях и ночевали уж где придется. А потом, на подъезде к Мумбаи, последний городок со странным именем Пен, куда добрались уже затемно и поселились в первой попавшейся гостинице, оказавшейся дремучей ночлежкой со спящими на полу в коридорах и на ступенях лестниц фигурами, в которых с трудом узнавались люди. Комната была такой, что лучше не описывать. Сказал Тае: идем отсюда, но она так устала, уже засыпая на ходу, что только махнула рукой: здесь. Я добыл вторую простыню, которой она потом укроется с головой, а пока уговорил ее все же выйти – что-нибудь перекусить. Поселок был похож на такую же ночлежку, еще и свет отключен повсюду, шли какими-то мрачными переулками, тошнотворными подворотнями и где-то во тьме я взял из протянутой руки старухи без лица эту розу и вложил в ее ладонь деньги, тут же растаявшие вместе с ладонью. Тая несла ее бутоном вниз, держа за край длинного стебля, чуть помахивая рукой при ходьбе, будто никакой розы там не было. Ее и не было. Там, на кровати. Она оставила ее на столе в какой-то распивочной харчевне, где присели и не смогли есть. Не было, но я ее вижу на простыне. Где Тая спит на краю, спиной к ней. А я все не могу лечь рядом, маюсь, ишу чем занять себя, смотрю карту. Середина ночи, стук в дверь. Отряд полицейских, ломятся в комнату. Головы обмотаны шарфами, небритые лица с красными глазами. Допотопные ружья за плечом. Проверка документов. Кричат, напугают. Она и не слышала, как приходили. И роза лежала за ее спиной на простыне. Лежала, хотя ее не было. Так оно нередко и происходит. С людьми, событиями, чувствами. И с Таей.

Невысокий парень в желтой рубаше и желтых, зауженных книзу штанах с орнаментом по бокам... какое лицо необычное... Не потому, что набеленное. Стоит, покачиваясь, обхватив шею ладонями. Как акробат на пирамиде, когда один на плечах другого, а он – вверх, предпоследний... Почему предпоследний? Бог его знает. Какая-то пружина в нем замедленная, что-то происходит в нем... Надо поспать. Тая, наверно, уже седьмые сны смотрит. Тая, Тая... Я понять тебя хочу, смысла я в тебе... Ишу ли? Не заговаривайся. Эх, ду, тин, джар, панч, вышел зайчик, вышел зайч...

Два дня спустя ранним утром мы шли по лесной тропе к священной поляне. Процессия растянулась так, что не видно было ей конца. Мы с Таей все время теряли друг друга, идя по разным сторонам этого исхода. Сопровождавших, кроме нас, было не много: несколько женщин и детей, они ложились ничком поперек движения, чтобы участники процессии, переступая их, коснулись босой ступней. Остальные, как оказалось, ждали на поляне, готовились.

Акробат шел отдельно, запрокинув голову и заведя руки к затылку. Перед каждым шагом он выставлял ногу и, опуская на землю, не сразу переносил туда центр тяжести, а раскачивался, как на рессорах, будто проверяя устойчивость или вообще присутствие пути. При этом издавая долгий звук «тсссс» на каждом выдохе. Одна из женщин положила перед ним на тропу своего кроху. Он, в этом трансовом состоянии с запрокинутой головой, не мог видеть ребенка. Но ровно в шаге от него остановился, раскачиваясь на этих рессорах. Нагнулся к нему, не опуская невидящего взгляда, взял и, подняв над собой, прижимал к лицу, как бы промакивая им его. И вернул на землю.

Вблизи акробата кружила высокая долговязая девушка с длинными черными волосами, то и дело заходясь в птичьем крике – не одной птицы, а множества и на разные голоса. При этом ее вертело, комкало и растягивало, будто она попала в центр вихря.

Поперек тропы ложились ничком сразу по несколько человек, в основном молодые женщины. Благословение ступней происходило по-разному: одни едва касались, другие задерживались и вели вдоль позвоночника, акцентируя шею и поясницу, ее особенно. Похоже, целебная энергия Амман связана с материнством. Одна пожилая женщина с верхним рядом зубов, покрывавшим нижнюю губу, всякий раз долго вслушивалась пяткой, водя ею по спине, прежде чем прижать в нужном месте.

Рядом со мной оказалась девочка божественной красоты, в платьишке с вкраплением крохотных зеркалец и ожерельем лаймов на шее. Одна. На фоне заштрихованных бамбуковой чересполосицей джунглей. Смотрела своими спокойными нечеловеческими глазами на плывущую мимо процессию. Когда повернул к ней голову – будто звук отключили. Все это уже происходило не здесь, по ту сторону времени. Ритм барабанов давно переместился внутрь и звучал оттуда, подчиняя себе и сердце, и кровь, и, казалось, сознание.

Мимо меня прошли уже вроде бы все, кого видел вчера, но среди них не было тех двоих. Любви и смерти не было.

Мы приближались к поляне, где собралось уже около тысячи паломников. Но ни толчеи, ни суеты, все были заняты своим делом. В центре поляны был возведен зеленый храмовый шалаш, там шли приготовления к службе.

У края поляны – несколько костров с чанами готовящейся еды. В другой стороне – музыканты племени ирула и хоровод танцующих паломников. Многие просто расположились на траве в ожидании.

Мальчик с девочкой играли в ладоши: левая, правая, обманка, и одновременное выбрасывание пальцев на счет. Тот случай лиц и отношений, когда можно представить их и через двадцать, и через сорок лет. За ними сидели две чудесные старухи: одна с волшебного украинского хутора, другая с мужицким лицом. Сидели, прижавшись друг к другу, но глядя в разные стороны, молча, с еле улыбкой, каждая – в свое пуховое безвременье. На пригорке за лиственным храмом полулежал, опираясь на локоть, старик с длинной бородой. К нему подходили за благословением, склоняясь к ногам. В дальней стороне поляны разделявали жертвенных козлов, подвешенных на ветках деревьев.

Процессия остановилась, барабаны стихли. Люди продолжали покачиваться в трансе, чуть перебирая под собой ногами, не сходя с места, ожидая своей очереди. Их принимали по одному, выводя из этого состояния. Каждый следующий подходил к незримой черте, откуда оставалось шагов пять вниз в ложбину, где стояло несколько мужчин в ожидании и наготове.

Первой шла та долговязая девушка. Она долго раскачивалась на черте. Ее подбадривали и манили рукой. Но она все раскачивалась, под тем углом, когда неминуемо должна была упасть, но не падала. И вдруг с пронзительным криком шагнула вниз, еще шаг, еще, ей наотмашь брызгают в лицо водой из пластиковой бутылки, приговаривая: «манипура, манипура...», и ноги у нее подкашиваются, ее подхватывают под руки, голова запрокинута, кладут на землю, постепенно она приходит в себя. Не в ту себя, которой была эти три дня, но и уже не в прежнюю. Манипура – третья чakra, живот, жизнь, эго. Но, может, мне только слышалось так, а приговаривали они другое?

Один за другим все эти несколько сотен участников ритуала проходят этот последний рубеж. Когда настал черед акробата, он дал понять, что помощь не нужна, он сам. И начал раскачиваться взад-вперед. Мне физически передалось его предельное напряжение. Будто в нем все кроилось и рвалось по швам. В последний момент, уже падая назад, он все же успел судорожно выставить ногу, а на другую, согнутую в колене, опереться руками. Один из мужчин приблизился и брызнул ему водой в лицо. Он молча пал. Унесли.

Та пожилая с большими выпяченными зубами все не могла сойти с черты, потом с криком кинулась и упала на руки мужчин, билась всем телом, никак не могла высвободиться из себя.

Зрителей тут не было, кроме меня. Тая сидела вдали на пригорке, глядя на происходящее на поляне. В нежном шелковом наряде, который она сшила в Харнай из светло-терракотовой ткани с тонким зеленым узором – шальвары и длинный, почти до колен верх. Она в нем казалась девочкой по имени Ветерок – легкий, чистый, хотя и немало повидавший.

Казалась... Смотрел на нее и думал. Какие редкие минуты, когда вот так, с этим чутким расстоянием между нами, но и то сказать – в дальней дымке, как после жизни, но кажется ближе, чем в ней. Годы идут, а мы все как два подростка: чуть что – и безжалостны насмерть друг к другу, и ожог, как впервые, и разрыв навсегда. И снова – до потери сознания близость, как впервые и навсегда. Год за годом, из крайности в крайность, и не сладить никак. Чуть что. На той черте, когда неминуемо должны бы упасть, но не падаем. И некому брызнуть в лицо той водой, подхватить под руки. Манипура, манипура, третья чakra, жизнь, легкий ветерок...

А потом вся эта тысяча паломников уселась длинными рядами на поляне – мужчины и женщины отдельно. Перед каждым лежал на земле банановый лист, на котором высились горки риса, овощей, козлятины и сладостей. А племя ирула все продолжало играть и танцевать у края леса.

Когда мы на закате вернулись к храму, он был уже пуст. Ярмарка кончилась, торговые ряды разобраны и увезены, шатры сняты, люди ушли, уборщицы мели мусор. Крашенная статуя Дурги на тигре стояла расколотая, подрагивая на ветру. Горка брошенной обуви. Горшочки, увядшие бархатцы. Среди завалов мусора бродили коровы и полудикие черные свиньи. Посреди пустыря лежал человек, порыв ветра сорвал с него газету, но он успел поймать ее на лету и прижать к лицу.

Присели на ступенях храма. От затуманенного вдали колеса сансары осталась половина – как полумесяц. Другая лежала внизу, уже разобранный. По полумесяцу взбиралась маленькая фигурка рабочего. За ними – зыбкие очертания гор в тающем свете. Все это не укладывалось ни в сон, ни в пробуждение. Декорации одной реальности разобраны, а другой, прежней, уже не было. Ни любви, ни смерти. Если бы не последние улики, заметаемые метлами. Если бы не мы, сидящие уже во тьме на ступенях храма.

#13. Почта

– Что ж ты все молчишь, что-то случилось?

– Попробую тебе написать, хотя по-прежнему трудно мне с этой стеной во мне. Я никак не могу взять верную ноту, чтобы разговаривать с тобой, от любых моих попыток у самой скулы сводит. Где эта верная нота, как и о чем – и главное, кем и чем разговаривать? Меня тошнит и от деланной деловитости, и от отписок, а при мысли об откровенном разговоре разворачивается такая бездна, в которую страшно заглядывать. Мы оба знаем, как давно это произошло, знаем, пожалуй, и почему, просто все твои средства нащупать тропку мне не годятся. На том расстоянии, на которое нас разнесло – дальше чем после большого взрыва, – остается только что-то чувствовать – что мы с тобой, каждый по-своему, и делаем, а слова уже беспомощны, кроме того, безнадежно врут, создают ложное эхо, в котором боль только многократно усиливается. Я рада тому, что ты есть, рада твоим публикациям – и индийским, и тем, что единственно возможным способом хранят эту память о нашей катастрофе, об обломках, о той правде счастья, которая у нас была. Но я не знаю, как из тех миров, где мы оказались сейчас, разговаривать, и лишь эта немота приносит хоть какое-то облегчение, продолжая наш очень тихий внутренний диалог, который, наверное, уже никогда не смолкнет, пока мы оба живы. Что мне написать тебе? Что Лёнька чудесен и главная радость моей жизни – ты и так это знаешь. Как обустроить ваше общение – я не представляю. Вы не разговаривали друг с другом с зимы, когда ты вернулся из Индии – и он пришел домой печальный и разочарованный, не почувствовав ни твоего внимания к нему, ни интереса. Он тебя помнит и любит, но как сделать так, чтобы не ранить его? Я не знаю. Что написать мне тебе о себе? Что моя жизнь не слишком легка, и в ней сплошь решение бесконечных уравнений, я стараюсь, как умею, но сил не всегда хватает. Мне кажется, в глубине души я понимаю, откуда берется этот иррациональный страх, на что указывает – но что мне делать с этим знанием, если ничего нельзя изменить. Иногда хочется попросить тебя: отпусти меня, живи свою жизнь. Но что в этом толку, если я сама не свою живу. Я возвращаюсь в Москву в понедельник. Лёнька останется в Крыму до конца лета.

– Мой золотой, мой горький, мой единственный, как же мне ответить? Я ведь даже не могу сказать, что никогда тебя не оставляю, что навсегда с тобой, потому что право на эти слова отняты. Что же делать? Выбор у нас невелик. Затихнуть? Горше такой перспективы, кажется, не представить. Хотя мы прошли, казалось, уже через то, где не выживают. Но будет ли лучше? Кому? Не мне, это точно. Думаю, не Лёньке. С большой вероятностью и не тебе. Ты права, говорить так, как мы говорили, когда жили вместе, кажется, невозможно, и все же, когда это вдруг происходит, мне так отчаянно светло, что вся эта «невозможность» и «ложное эхо» уходит на двадцать третий план. И даже когда нет этого, а есть просто связь, пусть и кривая, какая угодно – я и такой благодарен, все лучше, чем без. Еще и потому, что есть чувство, что все это как-то движется, живет, и кто знает, к чему придет. Может, нам совсем мало осталось, и страшно потерять это по своей воле. А если долгая жизнь впереди – тем более. Да, и жизнь и голоса так расплелись, блуждают, где он, тот тон, единственный, может, его и нет ни у нас, ни в природе, а есть вот эта трудная блуждающая множественность – то Симуург, то Озирис, то Кальдерон де ла Барка, которая мы с тобой. Ты говоришь: а при мысли об откровенном разговоре разворачивается бездна. Да, возможно, мы и не готовы сейчас к этому. Но нужно ли, если заведомо ясно, что на дне ее лежу я. Моя вина. И немота моя. Потому что есть Лёнька. И все же, я хочу еще раз сказать тебе: я дышу каждым твоим словом и другого воздуха у меня почти не осталось, и если это прервется – может быть, физически я и выживу, но никакого света я там не вижу. И для тебя, хочется думать, эта связь не одна лишь мука. И для Лёньки – не каждая из столь редких встреч – разочарование. Я очень хочу, чтобы он чувствовал во мне отца, и радость, и близость, я стараюсь, но бывают дни, когда вот так все вкривь и вкось, ты же знаешь, и возвращение из Индии, и озноб Москвы, и так много всего внутри перемешанного, и ты, и бессилие сказать тебе столько всего, не нашедшего слов, и Лёнька рядом. Будь у нас встречи чаще, наверное, это воспринялось бы иначе, обидно, конечно, что у меня так в

тот день сошлось. Ладно, выдохнем. Не бойся причинить мне боль, нестерпимая боль только одна – без тебя.

– Я уже в Москве. Письмо твое – лучшее, что случилось за последнее время. И слезы, и радость, – не расплескать бы.

#14. Фрагменты чтения

Льет и льет, это Альпы вертят погоду на пальце, то снег, то дождь, а то вдруг день ясный, последнее золото дрожит на ветвях. Ноябрь уже, белка, мокрая, тощая, не знает, куда закопать орешек, переносит с места на место и, присев, замирает, с лапками поднятыми к лицу. Можно мысленное солнце вписать меж своих ладоней – где-то там, далеко, за дождем. Мысль, он говорит, не может увидеть свою смерть, она создает себе иллюзию непрерывности. В Иисусе или в чем-либо еще.

Джидду Кришнамурти родился в 1885 году в семье браминов, в детстве его считали умственно отсталым, били – и дома, и в школе, он вспоминает, что ни одной мысли или образа не посещали его, лишь наблюдал и слушал. Отец в поисках работы написал председателю теософского общества Анни Безант и, будучи принят, переехал с семьей в Адьяр, где один из лидеров этого общества ясновидец Чарльз Ледбитер увидел в ничем не примечательном Джидду необычайную ауру того мирового учителя, которого они ждали. Теософы взяли его под свою опеку, а два года спустя учредили Орден Звезды Востока, избрав шестнадцатилетнего Кришнамурти главой Ордена. Он с Безант уезжает в Англию, путешествует по Европе, произносит первые публичные речи, перебирается в Австралию, затем в США, где с ним происходит то, что он назвал «процесс», мистическая встреча с первородным светом. В 1929 году Кришнамурти распускает Орден, говоря перед многотысячной аудиторией: я убежден, что истина – страна без дорог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем – ни через религию, ни через секту. Я распускаю Орден, поскольку не хочу последователей, и я серьезен. Нет и не должно быть, говорит он, никаких авторитетов, включая Бога – для тех, у кого он есть. Ни учителя, ни ученика; это порочный путь. Лидеры уничтожают последователей, а последователи – лидеров. Нужно быть своим собственным учителем и своим собственным учеником. Забыть все, что знали про себя прежде, начать, словно не знаешь о себе ровным счетом ничего. Это как в джунглях, говорит он в другом месте, есть только ты и джунгли, и никого, чтобы помочь, подсказать. Есть твой ограниченный ум, та ловушка мышления, сродни книге, которую читаем, забывая, что это книга, бумага, переплет, переворачиваемые страницы. В ловушке эго, индивидуальности, которых нет. Как нет национальных разграничений, социальных и прочих. Есть человек, один, единый. Как есть натрий в природе. И любовь – не твоя или моя, та или эта, а просто есть – как натрий. Учиться мыслить, следить за мышлением, обходя границы клетки, вслушиваясь в просветы, уворачиваясь от становления. Это не интеллектуальное усилие и не психологическое. Предмет вопроса – сам ум, а не те задачи, которые он ставит.

В свои девяносто за месяц до смерти он говорит, сидя под деревом перед людьми: итак, вы спрашиваете, откуда появляется птичка? Каков процесс творчества, что стоит за всем этим? У источника нет имен, источник абсолютно спокоен, он не жужжит.

Уже стемнело вокруг, он сидит под деревом, мягкие седые волосы перебирает ветер, слегка женственные черты смуглого лица, большие глаза со светлой пытливой печалью, взгляд, переводимый с одного на другого, сидящих перед ним: не верьте тому, кто это говорит, не верьте...

Уходя, он считал, что у него нет последователей. В течение жизни у него было немало встреч с европейскими и индийскими мыслителями, среди них долгая дружба с британским ученым Дэвидом Бомом, опекаемым Эйнштейном, прочившим ему Нобелевскую премию за работы в области квантовой физики. Бом занимался также философией и нейропсихологией,

к концу жизни разработал голографическую модель вселенной, где каждый фрагмент содержит всю пространственно-временную информацию о целом. На протяжении двадцати лет он встречался с Кришнамурти, и они записывали свои беседы. О пространстве и времени, об универсуме и связях внешней природы с внутренней структурой человеческого духа. О том, что происходит в нашем мозге, когда мы мыслим.

Когда-то мы с Любой зачитывались этими беседами. Но должна же мысль иметь какое-то отношение к разуму, спрашивала она, вдруг озорно ловя меня много потом, повторяя Бома. И я отвечал ей голосом Кришнамурти: «Разве? Это вопрос. Я думаю, что связи меж ними нет».

Я долго не возвращался к этому диалогу, а тут снова открыл и зачитался. Одна из первых их бесед, начало 70-х прошлого века. Где же я был в эту пору? Школа, Киев, занятия спелеологией, примерно в это время еду с группой в Прикарпатье, где неподалеку в Мукачево родился отец Бома, мы месяц находимся под землей, живя в одной из самых протяженных в мире карстовых пещер – около ста двадцати километров, делаем топосъемку, разбившись на тройки, возвращаясь к ночи ползком в наш подземный лагерь, я тот в тройке, кто, будучи самым худеньким и вертким, лезет во все узкие ходы и щели, сообщая координаты и измерения – там, а они в это время в Англии, сидят в Броквуд-парке, разговаривают, за окном – дождь, здесь, в Мюнхене, где сижу у окна, читаю.

Что ж это за единый источник – мысли, разума, материи, спрашивает Кришнамурти, источник, который называют Богом ли, Брахманом, энергией или любым философским понятием, то есть по-прежнему результатом мысли и который именно мыслью не достигается? А если однажды будет достигнут, спрашивает Бом, то кем при этом станете вы? Пока есть «я», говорит Кришнамурти, пока есть мысль, время – вопрос об источнике, похоже, теряет смысл. И все же мы ставим этот вопрос, пытаюсь, насколько возможно, устранить эти помехи, которыми сами и являемся.

Вот сидят эти двое, напротив друг друга, два незаурядных ума с редкой взаимной чуткостью, двигаясь медленно, взвешивая каждое слово и то, что к нему побуждает, зная, что многие из побуждений стремятся ввести в заблуждение. У обоих за плечами немалый опыт, у одного – восточные практики, у другого – наука, квантовая механика и нейрофизиология. Оба с особым вниманием к языку и закулисы мышления, сойдясь в той безлюдной местности, где нет дорог. Начиная путешествие с ясного для обоих понимания отправной точки – проблемы психологического времени, возможности его прекращения через озарение, опустошение «я», выходу к первооснове и поиске путей этот опыт разделить с людьми.

Странно все это звучит, если смотреть с зашумленной стороны. Но они и говорят сейчас об этом, чуть отойдя от темы. О все более утрачиваемом даре внимания, способности слушать и слышать. О тайне жизни, и даже просто маленькой тайне, которую не то что взрослому, а и ребенку уже некуда положить в нынешнем мире. О знании, которое все больше становится проклятием, психологическом знании, обжившем «я». О медитации, которая вовсе не то сознательное усилие, не повторяемый шаблон, не размышление, концентрация и пр.

Дождь за окном, здесь, в Мюнхене, что-то нечитаемое выводит дождевыми каплями по оконному стеклу, а они там, в Броквуд-парке, продолжают. Часть этих бесед есть в видеозаписи. Какое-то двойственное впечатление вызывает его лицо. Притягивает, но и удерживает на дистанции. Не отталкивает, но и не вызывает приязни. Неявная женственность при остроте и даже суровости черт. Как маска, очень искусная, мягкая, тонкая, как настоящая кожа, с живым взглядом сквозь прорези глаз. Ему за восемьдесят, с легкой, едва касаясь земли, походкой. Легкостью, кажущейся чуть нарочитой. Как и голосом с чуть нарочитым, резковатым нажимом и распевным смягчением. Слишком всерьез, без улыбки, а казалось бы. Они все еще в Броквуд-парке? Или прошли годы, и это уже в Калифорнии? 1980-й, я снова в Прикарпатье, работаю реставратором в Почаевской лавре, под купол Успенского собора поднимается молодой рыжебородый дьякон, которого монахи зовут «комсомолец», поднимается не по лестницам,

а прямо по лесам, подтягиваясь и делая «выход силы», пойдём, подмигивает мне, там прихаживают молоденькие, неописуемые, а я стою с палитрой перед ликом богоматери, восполняю утраты на ее правой щеке, в уголке губ, а они в это время сидят на другом конце света, в Охай, Калифорния, разговаривают, дождь, похоже, стихает.

Может быть, мы разберемся в этом, не торопясь, говорит Бом. Целостность – это, скорее, свобода видеть отдельные части. Свободы нет, говорит, Кришнамурти, пока существуют отдельные части. Ловушка мысли. Мысль создает эти отдельные части самой природой мышления, в реальности они ничто.

Что происходит, если я правильно их понимаю? Есть связка мозг-я-мышление. Последние два – одновременно реальны и иллюзорны. Мысль обусловлена и ограничена, обеспечивая безопасность «я» и его становление, порождая внутреннее психологическое время. Мозг этим занят. И есть универсальный разум, находящийся вне мозга. В основе разума – любовь, порождающая сострадание. Это безмерная чистая энергия, но мозг не имеет с ней отношений, он занят мыслью. Мысль не может себя прекратить, чтобы открыть канал для связи с разумом, возможный лишь при отсутствии «я», пустотности и тишине сознания. Никакая медитация как сознательное усилие не способна этого достичь. Настоящая медитация начинается лишь после достижения этого состояния, не наоборот. Достижение возможно лишь через прыжок, вспышку озарения, разрывающую связь мозга с «я», мышлением. Никакой последовательный процесс на этом пути не работает, поскольку является временем, становлением, работой мысли. Мысль (это уже на полях) не совместима с любовью, которая не обусловлена и не ограничена. Обостряя: где есть мысль, мышление – нет места любви. Мысль питается прошлым, опытом, знанием, любовь – только в настоящем. В этом же смысле ревность (как питаемая прошлым, мыслью, присвоением и становлением) не совместима с любовью. Так ли?

Когда сознание, говорит Бом, размышляет о самом себе, оно словно глядит на себя в зеркало, а зеркало отражает его так, будто это уже не сознание, а независимая реальность. Происходит искажение. Но откуда сознание берет энергию, из какого таинственного источника, производя затем всю эту путаницу? В некотором смысле эта энергия приходит от меня самого, от «я», но так ведь не может быть, это какой-то тупик. Оба задумываются. Да, говорит, Кришнамурти, содержание сознания создает свою собственную энергию. Когда у меня противоречивые желания, я борюсь. Энергию создает желание – не Бог, не что-то глубинное, – это все то же желание. Реальность создает свою собственную энергию.

Не совершило ли человечество в самом начале пути, спрашивает Кришнамурти, неправильный поворот? Не является ли этим поворотом противопоставление «я – не я»? Если нет этого, нет и проблем, нет конфликта, не существует времени – времени в смысле становиться или не становиться, быть или не быть. Не получилось ли так, что энергия – огромная, беспредельная – оказалась зажата или ограничена рамками ума, и сам мозг стал ограниченным, потому что не смог вместить всю эту огромную энергию? И поэтому мозг постепенно сузился до «меня», до «я». Нет, подождите, к этому надо подойти не торопясь.

Не торопясь. Капли стекают по стеклу. Мама спрашивает, проходя: может картошки пожарить на ужин? Он такой легкий и маленький, рядом с Бомом, как седой ребенок, сидит напротив, смотрит светло печальными глазами, хотя они темные. Видите ли, говорит, я хочу положить конец времени, психологическому. Понимаете? Разве не является оно источником человеческого страдания? Лично для меня идеи «завтра» психологически не существуют, то есть время я воспринимаю как движение, и оно либо внешнее, либо внутреннее. Психологическое время и время внешнее. Но если психологического времени не существует, то нет и «меня», нет «я», которое является источником конфликта. Однажды в Индии я проснулся ночью, взглянул на часы – было четверть первого. Мне трудно это выразить словами, ибо это звучит нелепо – источник всей энергии пребывал, был достигнут. И это оказывало чрезвычайно сильное воздействие на мозг. Также и физическое. Мне, к сожалению, приходится гово-

рять о себе, но, понимаете, вообще не существовало разделения, не было ощущения мира, «меня». Было только ощущение источника огромной энергии. И уже в течение шестидесяти лет я хотел бы, чтобы и другие его достигли – нет, только не достигать его. Вы понимаете, о чем я говорю? Все наши проблемы были бы разрешены. Потому что это чистая энергия от самого истока времени. И вот, как я – не «я», понимаете, – как кто-то, не поучая, не помогая, не подталкивая, мог бы сказать: «Вот путь, который ведет к состоянию абсолютного мира и любви»? Жаль, что приходится пользоваться этими словами. Но предположим, что вы пришли к такому состоянию, и ваш мозг охвачен трепетом: как могли бы вы помочь другому к этому прийти? Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Наш мозг так приучен к идее эволюции, может ли этот мозг вдруг осознать, что не существует такой вещи, как время? Как вы, обретя этот опыт, могли бы его передать другому? Не на уровне интеллекта, а так, чтобы это было у него в крови – понимаете? Когда это у меня в крови, я это имею. И не нужно уже объяснять. Я, человек, обращался к индуизму, буддизму, христианству, исламу и говорю, что я исследовал, изучал, что я наглядился на них. Я считаю, что все они – одни лишь слова. Я оградил себя стеной – стеной, которая есть я сам. И живу с этим миллионы лет. Я стараюсь выбраться из этого с помощью учения, чтения, обращения к гуру, ко всякого рода вещам, но по-прежнему стою на якоре. А вы говорите мне о первооснове, потому что видите нечто поразительное, нечто кажущееся таким живым, таким необыкновенным. Я же – все еще здесь, стою на якоре. Вы, тот, кто «видит» первооснову, вы должны что-то сделать, чтобы полностью взорвать, разрушить этот центр...

Их уже трое там, к ним присоединился некий собеседник, спрашивающий: я должен сделать что-то, или вы должны?

Помогите мне, продолжает Кришнамурти, не молитвой и всем этим вздором. Я постился, я медитировал, я от всего отказывался, я давал обет в том или другом, но в результате лишь пепел. И вот приходит некто и говорит: послушай, существует первооснова, которая...

Этот вопрос не дает ему покоя, то и дело всплывая на протяжении нескольких бесед. Возможно ли и как донести весть. Оставаясь человеком, без небесной помощи. Возможно ли разделить с людьми этот опыт, сделать его открытым, сдвинуть с места положение дел. Не описывая, не призывая, не говоря, поскольку это не работает. Оставаясь собой, на том берегу, глядя на этот, где стоит человек; вот же, сядь в лодку и переправься, при том что лодки нет. Переправой могло бы стать озарение, но его не достичь усилием. Они говорят о том, что окажись на том берегу не один, а, скажем, десять таких, сплоченных в единое, это могло бы, наверно, как-то изменить ситуацию в мире, но так не случается. Будущее человечества видится им, скорее, пессимистичным: озарение не достигается помощью со стороны и не культивируется самостоятельно никаким образом, но и сам разрыв с «я» людям не видится желанным и необходимым – ни бедным, ни богатым, ни отчаявшимся, ни религиозным. Остается, хотя и неочевидное, само воздействие универсального разума и тех немногих, кто совершил этот переход.

Итак, существует ли, спрашивает Кришнамурти, отношение между первоосновой и человеческим умом? Задавая этот вопрос, я сознаю его опасность. Ибо, когда индус говорит, что Бог, Брахман в вас – это всего лишь прекрасная идея. Они останавливаются на этом вопросе, стараясь его прояснить, но это сходу не дается. Осторожно заходят с разных сторон, собеседник пытается участвовать, но в его репликах, кажущихся значимыми, они находят поспешную небрежность, отклоняющую от вдумчивого приближения.

Тогда то, что вы открыли, – несомненно, милость Бога, говорит Бом. Кришнамурти с этим не согласен. Все, чего я «желаю», говорит он, – это чтобы центр был разрушен. Я вижу, что он – причина всяческого страдания. За миллион прошедших лет я не смог от него избавиться; он остается. Итак, существуют ли вообще отношения? Что представляет собой отношение между добром и злом? Вдумайтесь в это. Отношения между ними не существует. Давайте воспользуемся другим словом: целое и то, что не является целым. Это не идея. Так вот, суще-

стует ли отношение между тем и другим? Очевидно, нет. Малая, крошечная сущность желает иметь отношения с тем, что необъятно. Это невозможно. Да, говорит Бом, и не только потому, что оно необъятно, а потому, что самой этой сущности фактически нет. И тут, продолжает Кришнамурти, кто-то мне говорит, что существует первооснова. Я пожелал установить с нею отношения. А она отвечает: извини, ты не можешь иметь отношения со мною. Вот и все. И я, наконец, ясно сознаю, что между мною и истиной нет никакого отношения. Понимаете, что это для вас значит? Первооснова говорит: что бы вы ни делали, – это не имеет никакого значения. Не претворять это в концепцию или идею, а принять всю силу удара!

Он пытается представить себе человека, стоящего на краю страдания, во тьме отчаяния, прошедшего все, что можно было пройти. Что это для него значит, что первооснова не хочет иметь с ним никаких отношений. Ничего. Он и не видит этого, не чувствует, нет у него этого опыта. Он будет цепляться взглядом за лист на ветке, за отблески красоты, приметы жизни, восходящее солнце, семью, землю, дом, но взгляд соскальзывает в центр тьмы, внутрь. Ни отношений нет, ни удара от их отсутствия – с той стороны. И единственно спасительного озарения нет. Это не Иов, у которого был Бог, это голый человек, один на один с собой, на краю. Но Кришнамурти продолжает, пытаюсь его придвинуть еще ближе этой переправе, при этом делегируя ему тот опыт, то чувство единства с миром, которого у этого человека сейчас нет, а было бы – вопрос об ударе стоял бы иначе.

Я хочу, говорит Кришнамурти, прояснить не некоторые, а все иллюзии, в плену которых нахожусь. Я отбросил иллюзию национализма, отбросил иллюзию в отношении веры, в отношении того, этого. Я ясно понял наконец, что мой ум сам является иллюзией. Видите ли, для меня, прожившего тысячи лет, выяснять все это – занятие абсолютно бессмысленное. Не означает ли это, говорит Бом, что в каком-то смысле весь опыт человечества – это... Это я, отвечает Кришнамурти. И это не сочувствие или сопереживание, это – факт. Когда вы любите кого-то, то нет «меня» – есть любовь.

Последние капли, или это с деревьев и крыш. День угасает. Было ли у меня это чувство, есть ли? Да, хотя, быть может, не в такой степени. В какие-то дни, минуты. То острее, то менее ощутимо, фоном. В джунглях – очень, и в чем-то больше, чем просто человеческий опыт. В творчестве? Трудно сказать, слишком это связано с «я», но каким-то образом, вероятно, тоже. Вдруг вспомнилось – наверно, от тех его «четверть первого», когда он проснулся – однажды в юности я очнулся среди ночи, лежа на животе и чувствуя над своей спиной какую-то невероятную, ни с чем на земле не соотносимую, живую силу. Бесплотную, но живую, в смысле наделенную разумом, было ощущение безмерности этой «мыслящей» энергии, она все приближалась, нет, она уже коснулась меня, и тяжесть ее было невозможно вынести – физически. Легкое ее касание вдоль всего тела, даже менее этого, и, казалось, уже кости мои не выдержат, ножки кровати подломятся, а она все не ослабляла этого нажима, как бы испытывая мой предел. Это длилось около получаса. Если б я мог повернуть голову, я бы, может, что-то увидел над собой, так казалось. Присутствие этой силы было явно адресным, обращенным именно ко мне, испытывающим, там, над моей спиной, было ее незримое лицо... Из всех сил я пытался повернуть голову, но ни на сантиметр это не удавалось. Глаза у меня были открыты. Я видел часы. Я видел чашку на столе, попробовал ее подвинуть взглядом, она поддалась. Но это при происхождении было не столь важным. Страх? Да, он был, но что-то было сильнее и важнее его. При том, что речь шла о жизни и смерти, я это чувствовал. Еще немного нажима в этом касании – и все. Но оно, это космически безмерное, именно так оно ощущалось – медлило. Вглядываясь, как бы пропитывая меня собой насквозь, что-то вкладывая во все это. Страх отступал, тут было что-то другое, не о смерти, казалось, я уже понимаю, и, когда на пределе сил я вдруг без голоса прошептал: да!.. – выдохнуло меня, отпустило. Это было, конечно, не то состояние, которое он испытал той ночью, но, видимо, опыт встречи с этой (или иной?) энер-

гией, вступающей в отношения с нами, может быть разным. Это случалось потом еще дважды, спустя годы, и каждый раз по-другому.

Не считаете ли вы, что существует такая функция мозга, которая действует независимо от его содержания, спрашивает собеседник. Они говорят о мозге, о том состоянии ума, которому удалось преодолеть психологическое время, закончить его вместе с привязанностью к «я», войдя в единое с тем, что не знает смерти, вернее, оказавшись там, где смерть уже имеет малое значение. Достигнув этого состояния, мозг в его земной жизни снашивается куда медленней – на 90% медленней, как допускает Кришнамурти. Нет конфликта, нет плена рутины, повтора, фиксации, нет старения. Содержание сознания освобождено от психологического времени, это ведет к трансформации клеток мозга. Если б мы могли учиться, не калечась знанием, говорит Кришнамурти, учиться, не фиксируясь, а оставаясь в поле свободы, неопределенности, незащищенности, как в природе, в лесу, лишь очень немногие преодолели знание и говорят из свободы. О каком знании он говорит? Знании о самом себе, именно это он хочет поставить под вопрос. Наше восприятие, говорит он, обычно направляется знанием, прошлым, и это знание вызывает действие, которое исходит из прошлого. Это и есть фактор дряхления мозга. Существует ли восприятие, не связанное с временем, и, следовательно, действие, которое срывает немедленно? Если бы мы оказались способны сломать этот стереотип времени, то мозг вырвался бы из этой структуры, и тогда произошло бы кое-что еще.

Что же? С его слов, индивидуальный ум, входя в контакт с универсальным разумом, по сути бессмертен, смерть тела остается тривиальным событием. Об этом?

Иногда, говорит Кришнамурти, люди размахивают передо мною морковкой, и я следую за ней взглядом. Но я понимаю, что в действительности нет никаких морковок, нет ничего. Как же тогда это прошлое способно рассеяться? Можем ли мы сказать, подхватывает Бом, что вселенная не обусловлена своим прошлым, несмотря на некоторое постоянство ее форм? Да, соглашается Кришнамурти, она творчески подвижна, и в этом движении ее порядок, могли ли бы вы как ученый согласиться с этим? Если на то пошло, говорит, Бом, – да. Не сошли ли мы оба с ума, еле заметно улыбается Кришнамурти. Давайте поставим вопрос иначе: есть ли реальная возможность для времени окончиться – имеется в виду вся идея времени как прошлого – окончиться хронологически, так, чтобы вообще не существовало никакого завтра? Мы вышли за грань безумия, так что можем продолжать. Не могли бы вы сказать, что это движение, не связанное с временем – вечно новое? В том смысле, говорит Бом, что творчество – это вечно новое. Но что же делать человеку, совершившему переправу, выпутавшему свой мозг из времени и вошедшему в этот дом пустоты? Жить, говорит Кришнамурти.

#15. Панхаликаджи

За день до нашего отъезда в Индию Тая прилетела из Севильи в Мюнхен – с рюкзаком, в камуфляжных штанах с высоким поясом, которые так ей шли с ее длинными ногами и белой тонкой рубашкой, как и белье белое на ее всегда смуглой коже, которую при каждом удобном досмугливалась на диких пляжах Европы. Или Бали, куда отправилась в пору нашей недавней размолвки. Лежа на всех этих пляжах и непляжах где-нибудь в стороне, одна, топлес, днями и днями. Но и даже когда со мной – чуть в стороне.

Как в Хорватии, на лесном безлюдном мысе, куда ходили с тормозком еды и устраивались у вросшего в землю ржавого якоря, вешая на него одежду. Она ложилась спиной ко мне, голая, за порослью кактусов, в плывущем мареве зноя, и казалось, тело ее дрожит, колеблется в этой пелене. Я смотрел на нее сквозь прогал в зарослях, лежа неподалеку на рыжих сосновых иголках, положив ладони под подбородок, и не мог отвести глаз, хотя, казалось бы, знал это все уже тысячу лет, каждый мир ее тела, а их было не счесть, и странствовал взглядом – как по родной, желанной и совершенно неведомой земле. И понимал, что вот ведь – никогда эта

неведомость и родство не утолятся. И замирал, ни жив ни мертв, глядя на то, что и назвать никак невозможно, да и поверить, что это сотворено – даже самым отчаянно нежным и чувственным богом на свете. Глядя на этот непостижимый переход от талии к бедрам и дальше – к ногам. Я представлял себе эту космогонию: вот уже создан мир, и явлено все, кроме этого перехода... Нет, легче выдумать и сотворить облака, океаны, деревья, даже людей. Но не это, не так. От которого мутилось сознание и жизнь, колеблясь, как этот воздух. И медленно вел взглядом по теневой ложбинке – туда, где, еще не дойдя, лишь в предчувствии, уже обрывалось сердце. Словно там и было оно, мое сердце, замирающее между хромыми ударами. И тут она вдруг перевернулась на спину, вместе со мной и сердцем, оставшимся там, под ней. Встала, отряхнулась, перелегла – ко мне, уже сидящему. Лежит, чуть свесив голову через мое бедро и глядя на расстеленный завтрак для нас между моими разведенными ногами. И не совсем на завтрак, к которому мы вернулись очень нескоро. И еще долго зудела спина в отпечатках сосновых иголок.

Приземлились мы в Мумбаи ранним утром, еще затемно. У меня был план, который не открывал ей, храня сюрпризом – отправиться в нашу рыбацкую деревню по морю. Выудил я в интернете смутные сведения о пробном открытии водного сообщения. Какой-то лапоть, названный, конечно, скоростным, ходящий в некие дни в непрогнозируемую глухомань на полдороге к нашей деревне. И ладно, лишь бы оказалось правдой.

И – надо же, оказалось. Разношерстный такой лапоть. На волне едва не спадающий с незримой ноги. На корме – буржуйка, там что-то варится, чайник кипит. И гальюн рядом – кабинка со съехавшей дверью. И солнце восходит в своей неизменной индийской дымке. Кажется, и после мира, когда солнце будет уже едва тлеть, вокруг него еще останется эта дымка и где-то вдали, в стороне бывшей Земли, этот запах сожженных листьев, и индусы, сидящие в космической тьме у своих уличных костерков...

Доплыл лапоть, и пересели мы в прибрежных зарослях в какую-то бричку, и поехали дальше вдоль океана, а потом и его не стало.

А пока плыли, я вспоминал прошлогодний разговор с мистером Ларком, начальником полиции в городке Даполи, неподалеку от нашей деревни. Тем самым Ларком, жаворонком, у которого папа – Ленин, сын горшечника, а адъютант – Шива. Я говорю ему: как же так, Индия почти со всех сторон омываема океаном, а никакого водного сообщения. Ладно, что за все эти тысячелетия вы океана не замечали – ни кораблей, ни путешествий, ну... за исключением нескольких эпизодов. Но и в двадцатом-то веке, не говоря о нынешнем – та же тишь. Весь мир в круизах, яхтах, а у вас хоть годами вглядывайся в горизонт – девственен. Помимо прочего, говорю, это ж какой туристический бум у вас был бы – с маршрутами вдоль берегов. В Харнай я говорил с рыбаками, взять бы корабль, немного благоустроить, и отбою желающих не было б, даже из круга моих друзей. Спать на палубе под звездами, завтракать на кампусе, рыба под рукой, ночью плывешь, днем гуляешь по столетьям, плавучий дом, удобно и чудесно. Рыбаки загорелись поначалу – и скисли, посоветовавшись. И корабли есть, и благоустроить и пойти хоть на край света – не вопрос, но нельзя. Дальше указанной территории для рыбной ловли – нельзя, и брать посторонних на борт – тоже. Помнишь, Серджи, говорит мне один из них, как ты договаривался с Зауром, чтобы он вас с Таей на лодке отвез в Мумбаи – день ходу всего, если подвесить второй мотор. Не дали разрешение. А вон те руины за гаванью видишь? Там была портовая администрация пассажирской линии до Мумбаи на север и в Ратнагири на юг. Четыре рейсовых катера. Годы, как все четыре на дне лежат. Как же так, говорю Жаворонку, сыну Ленина, не сегодня-завтра это все равно ведь как-то стронется. Так, может, сдвинем дело? Да, чешет затылок, вынимает из шкафа толстый потрепанный том и из ящика стола лупу, листает, вглядывается. Проблема, говорит, еще и в том, что решение ее затрагивает несколько министерств. И, захлопнув книгу: несколько, и ни одно из них.

Ехали мы в Муруд, где на крохотном острове еще полсотни лет назад была последняя независимая мини-держава в Индии – форт Джанджира, около четырехсот лет назад объединивший сидди, выходцев из Абиссинии. Этих красивых статных африканцев когда-то держали при королевских дворах, но со временем и особенно с середины двадцатого века народ этот начал выветриваться, остатки его разбрелись по Индии, цыганя, музицируя, развлекая на свадьбах, осталось их вроде около четырех тысяч. В прошлом году мы уже были там, в Муруде. Жили в тихом домике, дважды на дню волнообразно подтягивающем к себе голубую простынку моря и сдвигающем ее вдаль в часы отлива. По пустынному берегу в окне бродила белая лошадь в красно-рыжих пятнах, как древняя карта другого мира. Мы отправлялись на остров на ветхой фелюге с рваным парусом и теряли друг друга из виду там в высокой траве среди руин домов, храмов, ржавых пушек, каменных лабиринтов, колодцев и затянутах зеленой патиной прудов.

На этот раз мы не собирались там останавливаться, а только встретиться с нашим приятелем Дипаком, который приедет за нами на машине, и отправимся с ним по джунглевым дорогам искать древние храмовые пещеры, которые я случайно высмотрел на гугл-карте и о которых, похоже, почти нет сведений.

Дипак – лучезарный двадцатилетний парень, сын лесника, нашел нас в лесничестве деревушки Бор, где мы жили тогда, и предложил повозить по горной округе. Уж не помню, человек десять, наверно, в машине, и все, кроме нас и водителя, сидели друг у друга на руках, и фигурка короля Шиваджи Махараджи покачивалась у лобового стекла. Как странно с этим именем: Бор – тигриный заповедник, где нас поселил в своем домике Сурия, с этого и начиналось наше путешествие, а потом с запиской от Сурии мы весь месяц перемещались по штату, другим заповедникам, пока не оказались снова в Боре, но другом, с плюс одной, но непроизносимой в своем имени буквой. И поселились в лесничестве, а спустя несколько дней был праздник, толпы людей на улицах, шатры на площади, театр, музыка, дети, играющие эпос. Нас с Таей вызвали на сцену, что-то я там говорил – пламенное и нежное. И еще, и еще, уже под телекамеры и с костюмированными детьми на руках: она с Кали, я с Шивой, она с Кришной, я с Радхой...

А потом мы как-то потерялись в толпе, а когда, уже к вечеру, столкнулись... Как это в фильмах показывают – в замедленной съемке и без звука рушащиеся дома, оседающие внутрь себя. Наверно, какой-то был повод, кто ж это вспомнит. Но дело не в нем, а в той невольно оголившейся жизни, ее ладони, протянутой навстречу. Ее ко мне, моей к ней. И вывихнутой мимоходом.

Она исчезла. Тормознула проезжавший мотоцикл, груженный какими-то бидонами, и исчезла во тьме.

А потом был День короля. Мы восходили с тысячами индусов в заоблачную высь – в форт Шиваджи в Райгаде, его последнем пристанище, несли флаги и кричали над пропастями: «джей, джей!», смеялись в объятьях друг друга, и были, похоже, счастливы. Присели там, в занебесье, но не у склепа короля, а чуть в стороне – у памятника его любимому псу, которого он завещал упокоить рядом с собой. Так мы втроем и сидели, глядя на заходящее за незримой долиной солнце.

Сидел там, перебирал в памяти, что помнил об этом короле, одном из самых великих в Индии. Крестьянский сын, он и королем-то стать не мог. Четыреста лет назад в этом построенном им небесном форте, заволакиваемый облаком, он стоял, тридцатипятилетний, в окружении тысячи браминов, призванных совершить ритуал по духовному преобразованию его кастового статуса, с тем чтобы короновать на царство. Или вот он, десятилетний мальчик, обручившийся со своей первой женой. А потом, в пятнадцать, собравший армию и тесня моголов, хоть и уступая им численности в десятки раз. И на переговорах с ханом, возглавлявшим войско противника, припрятанным стальным «тигриным когтем» вспарывая его тело и отсекая

голову в ответ на кинжальный выпад. А потом, вместе со своим сыном попав в плен и находясь под домашним арестом в Агре, сумеет сбежать, переодевшись в слугу и спрятав сына в корзине с фруктами. Вот он бежит с этой корзиной, а мы едем с Дипаком, поднимаясь по дну ущелья к пещере, где отшельничал духовный наставник короля – святой Рамдас, гуру и поэт, с которым они обсуждали пути к свободе – мирные и не очень, и их цену. В той пещере теперь обитает брамин, хранитель, был у нас долгий с ним разговор об этих двоих, вспоминая и другие пары – Чандрагупту Маурья и его учителя – ачарья Бхадрабаху, как и Македонского с Аристотелем. Тая прилегла у входа под деревом, а мы все продолжали, перейдя к отмене кастовой системы и равноправию женщин, за которые выступал Рамдас. «Тот, кто не помнит, откуда он произошел, не достоин называться мужчиной», цитировал улыбчивый, мешковато округлый хранитель, одной рукой похлопывая по животу, другой подпирая низкий пещерный свод. Да нет, наверно, ни о чем таком я тогда не думал, просто сидел рядом с ней, глядя на заходящее солнце, в сторону которого летела крошечная свастика из Мумбаи, аэропорта имени Чатрапати Шиваджи, оставляя за собой расходящийся тающий след короля...

Эти безвестные храмовые пещеры – не те, где жил Рамдас, другие – мы нашли с Дипаком не сразу, долго колеся проселками от хутора к хутору, спрашивая дорогу у крестьян и пастухов. Обычная для Индии история – где-нибудь за деревней может стоять древнейший дольмен, или своды с наскальными росписями, или руины храма мирового уровня, а жители ни гугу об этом. Может, считанные и знают, но и особого значения не придают. Вот и тут, около дюжины пещер с большими залами, колоннами и фигурами, с огромными вырубленными в камне слонами у входа, и все это расположено в два яруса на холме в джунглях, и ни души. Пещеры вырублены еще в прошлой эре, вначале тут жили буддисты, затем индуисты, и уже много веков как поселилось забвение. Хорошее место. Но мы к тому времени знали и куда более дивное – пещеры Панхаликаджи.

Это в тридцати километрах от нашей рыбацкой деревни Харнай. Пещерам более двух тысяч лет. Обнаружены совсем недавно. То есть о них, конечно, знали, но кто? Разве что пастухи с ближайшего хутора. Приехали ученые на несколько дней, условно датировали, сделали опись и уехали до лучших времен – в будущей юге.

В ближайшем к этим пещерам городке Даполи мы все никак не могли найти рикшу, чтобы понимал, куда ехать. Но добрались.

Джунгли, холм, двадцать восемь вырубленных в скале пещер, одна за другой, вытянутых на полкилометра вдоль тихой заводи, где живут крокодилы, но мы тогда не знали об этом. Вначале мы шли вместе, заглядывая в каждую из вихар, слегка оглушенные открывшимся. Тая спустилась к заводи искупаться. А я все никак не мог прийти в себя, переходя от одной пещеры к другой. Во многих из них были большие, вырубленные из камня фигуры богов, барельефы, надписи на деванагари и, возможно, пали. А в траве под деревьями – осколки, фрагменты, покосившиеся буддийские ступы, вросший в землю улыбающийся Ганеша... С деревьев глядели лангуры и, вдруг всполошившись, неслись по ветвям и прыгали на спины пещер, а оттуда вниз и усаживались на обломки богов и богинь...

Поначалу здесь, как и в тех пещерах под Мурудом, жили буддисты, потом, несколько веков спустя, таинственно исчезли. Поселились джайны. И тоже по неведомым причинам исчезли. Затем, где-то в седьмом-восьмом веке, пришли индуисты. Несколько веков спустя пещеры вновь обезлюдели, и уже до наших дней. Все эти таинственные приходы-уходы, эти необъяснимые смены создавали тут какую-то странную энергию. Казалось, именно она и живет теперь здесь. Не темная и не светлая. Бывало, не войти – как стена, даже дышать трудно. И погреб в сердце. А в другой приезд так легко и светло, что едва не уносишься ввысь. И не понять, от чего зависело. Порой обоих нас накрывало, но было и так, что она летит, а ты сидишь, недвижно глядя в это – солнечное? змеиное? – сплетение миров, религий, где осколки

будд рядом с обломками индуистских богов, фигуры джайнов попеременно со ступами и шивалингами.

В одной из пещер, где на своде гнездились летучие мыши, в углу лежали ноги Будды и чуть поодаль – его тело без головы. И я подумал их соединить: авось что-то в космосе сдвинется к лучшему. Мыши срывались со свода, как обугленные клочки бог весть чего, и хаотично металась. Соединил, вышел из пещерного сумрака, сел на землю, привалившись к обломку с какими-то барельефами, прикрыл глаза.

Мягкое закатное солнце сквозь листву. Тая подымалась от заводи, надев свои чудесные шелковые штаны и такое же платье поверх из тонкого оранжевого шелка в узорах на еще влажное тело. Нагнулась, тело ее на просвет стало еще более голым, и начала расчесывать свои длинные, ниспадавшие до земли волосы, казавшиеся чуть темнее солнца. На тропе появился пастух и, глядя то на меня, то на Таю, возбужденно размахивал руками, все повторяя: макар, макар! И указывал в сторону заводи. Тихо пробравшись сквозь заросли к берегу, мы наконец увидели его – да, около четырех метров, если не больше. Лежал недвижно на маленьком пляже по ту сторону заводи, грелся, разинув пасть.

Говорят, крокодилы длиной до трех метров на человека не нападают. Говорят. Пещеры вырублены в изножье холма, в прошлый приезд мы поднялись на его вершину, там оказался маленький хутор в несколько домов. Я пытался на пальцах объяснить, спрашивая о крокодилах. Не понимали, улыбаясь, кивая, сторонясь. Отчаявшись, нарисовал на земле – примерно трехметрового. Такой, спрашиваю. Да-да, кивают, показывая в сторону заводи. Или вот такой – удлиню его до пяти метров. Снова кивают. В сердцах дорисовываю до обрыва – размером с кита. Соединяют ладони у груди, кивают: намасте!

А на следующий год я как-то менял деньги в Даполи, там приятель у меня в Вестерн Юнион, единственном на сотни километров в округе – о том о сем треплется, и коснулись пещер этих. О, говорит, так я оттуда родом, с того хутора, там дяде моему крокодил пальцы откусил на руке, а он ему отрубил переднюю левую. Коров пас там, к воде спустился – тишь да гладь, и вдруг – он даже не понял, кто, откуда – кинулся на него. А у дяди чаклу полуметровый всегда за поясом, выхватил и рубанул, хорошо, что правая, в которой тесак, цела была.

Ушел пастух. Макар, лежавший там, заряжаясь солнцем, как батарея, ожил вдруг, увидев нас, и рванул под воду. И Тая исчезла. Пошла, наверно, прогуляться вверх по течению, это не заводь, оказалось, а речушка, за пещерами уходящая вверх каскадом маленьких водопадов.

А я сидел, все еще глядя сквозь полуприкрытые глаза на нее, расчесывавшую волосы, и вспоминал, как мы впервые въезжали в Индию.

В аэропорту нас ждала машина, присланная моим ришикешским другом Джаянтом. Я не помню лицо водителя, мы сидели на заднем, рюкзаки в багажнике. Раннее утро, долго выбирались из Дели в сгущавшемся тумане. До Ришикеша было около шести часов дороги. Город остался позади, туман прильнул к окнам так, что казалось, мы просто стоим недвижно, машину потряхивало. В мутно-белом нигде. Как до сотворения мира. И только призрачный свет вдруг вспыхивал впереди, сзади, сбоку – случайный, кривой, и мазал по окнам, по нам. Даже не свет – рваные сполохи, пробы его. Наплывал, на миг прильнув к лобовому, вглядываясь, кто там внутри, и, вскрикивая разными голосами, отшатывался в сторону, скользя за спину. Странно, что мы не разбились, и даже не думали об этом. Все это вместе – Москва, ночной перелет, Индия, мы, окуренные туманом, да и просто мы, еще пару дней назад не существовавшие, все это складывалось в какой-то сновидческий трип. В белом коконе. Гусеница-куколка-бабочка, в ком же из них душа? Тая прилегла, положив голову мне на колени. То, что происходило дальше, я не понимаю, и слов этих нет, чтобы сказать. Нет, она не трогала. Или почти не трогала. Только смотрела. И немножко дышала. Как воздух в безветренный день, а стебли травы чуть колеблются. Он медленно поднимался – но где, когда? – казалось, в незапамятные времена, и где-то далеко внизу, где земли еще не было. Ничего еще не было, и меня, казалось. А

он уже был. Только он и она. Как смысл и его звучанье. Звучанье взгляда. И дыхания. Которое произносят, не вдыхая и не выдыхая. И мутный безвидный мир, облапывающий окна желтыми сполохами. И затылок водителя, поглядывавшего в зеркальце, но я не помню его лица. Может, его и не было. Как не было ничего. Кроме тумана и этого лингама, отдельного от всего, и этой худенькой простоволосой Шакти, прильнувшей к нему на расстоянии дыханья. Видящего дыханья. Кем и была, и больше ничего в ней не было. Как и во мне, кроме него. Длилось это так долго, как с людьми не бывает. Шел уже пятый час. Нет, она не трогала. И ни единого слова. И он не ждал ничего, не вздрагивал, не излился. Просто стоял, как столпник в раденье. Как никто, которому не было до меня никакого дела. Если бы я хотел ее, если б она хотела – да, мы бы могли, там, на заднем. Но происходило что-то другое, в котором это тонуло, как меньшее в большем. Большем, чем мы. Как творение мира в тумане, в день второй. Когда что-то пропущено – там, в первом, уже непроглядное. И теперь проступающее вот этим мной, ею. Свет на щеке, ладонь у моих губ, она медленно отстранялась с улыбкой, и мир за окном проступал – небывалый, с землею и небом, с дорогой, коровами и людьми, туман рассеивался, подъезжали.

Тая возвращалась по тропе от водопадов, пританцовывая и что-то напевая, не «утомленное солнце» ли? Над ней на деревьях резвились лангуры. На нижней ветке мамаша подтягивала за хвост свалившегося младенца, он, покачиваясь вниз головой, глядел на нас, обнявшихся, своими большими лемурыми глазами на старчески сморщенном, нежно-лепестковом лице.

Вскоре мы вновь оказались у этих пещер. С вершины холма доносилась музыка и пение. Поднялись туда. Хутор был неузнаваем. Огромные нарядные шатры, в которых на расстеленных коврах сидели мужчины и старцы в белых одеждах и белых пилотках. В руках у них были раскрытые книги, вернее, одна и та же – Бхагавадгита. Это был ее день, этой книги и ее автора. На праздник издалека съехались уроженцы этого хутора. И вот три дня и три ночи они хором непрерывно читают книгу. И женщины помогают им, кормят, поят, наряжают мир, а одна, пожилая, стоит с виной, ударенье на первом, перебирая ее струны. За ее спиной – бюст автора Бхагавадгиты, убранный цветами, трогательно несуразный. Тех из читающих, кто ненадолго отходит вздремнуть, сменяют уже отдохнувшие. Такой вот трехъярусный мир: крокодилы в заводи, глядящие в пещерный проем трех религий, и на вершине холма – хутор с поющими Книгу. Перебиравшая струны со взглядом куда-то вверх и вдаль протянула мне вину, и я на время стал ею, этой женщиной, извлекая мало подвластные мне звуки. Тая сидела в стороне с детьми, воркуя с ними на неведомых языках.

Когда мы спустились вниз и вошли в ту пещеру, где месяцем раньше я сращивал тело Будды, обе части, соединенные мной, лежали, как прежде, порознь.

#16. Перемещения разрозненного

Он и она, на глазах повязки. Ощупью вспоминают. Маленькие, думает она, с ладошку ласки – семейства кунных. Часть больше целого, думает он, это не ново, даже когда в начале. Левая рука – Мышкин, правая – как Рогожин. Тишь меж ними, легонькой гарью пахнет, как от сгоревшей кожи. Если он смысл слова, а она звучанье, как в той Вишну-пуране, что же такая тишь? Три там дороги, и по каждой идут в обнимку беда и счастье в съехавших набок нимбах, как подвыпившие хуторяне. Она припадает к близости, они ее чувствуют, а друг друга? И в то же время они одно. Остается немного песка, извести на ладонях, огня в животе, остывающего, остается нарисовать окно.

#17. Почта

– Смотрела твои снимки со странным чувством – особенно те, где Тая в сари: страница перелистнулась, и вот уже новый дом лесника, и Руми выносит яркие одеяния. Тая на снимках

светится, и все это настолько идет вразрез с твоим «все врозь», что я пристыженно умолкла, боясь нарушить эту видимую гармонию. Идея с Карнатакой мне очень нравится. Не колеблись, ты же помнишь, что в место на карте ты только как бы случайно ткнешь – а наверху уже пишут и распускают, ожидая твоих историй. Куда бы ни отправился – верю, что все чудеса тебе будут.

– Шатко все. Еще вчера было решено – она уезжает. Сегодня уже едем вдвоем. В том-то и дело: когда мир – все хорошо, но он недолог – до ближайшего поворота. Договорились, что поездка до первой ссоры, штопать не будем. Но как мне сейчас перейти от всего этого к радостной дрожи хвоста? Я нашел, куда ехать! Посмотри на карте Кабини. Станем на реке, где она вензеля выписывает в подбрюшье Нагархола на границе с Кералой. И домик на дереве построю, и лагерь с шалашом внизу, и река, и слоны, и тигры... Если все получится – я думаю пробыть там недели три.

– Я рада, что ты нашел то, что искал. Дай бог – и тебе, и Тае, и пусть твои мечты сбываются: действительно неважно, что за женщина, что за дети, что за Индия – главное во всем этом ты сам, и пусть счастье продолжает на тебя литься из небесного ковшика. Будь, и будь счастлив – всегда.

– Кажется, твоей рукой водило горькое чувство, хотя и стремящееся быть светлым. Неужели ты не понимаешь, и тебе ли надо объяснять? Что заклинаю это счастье и местами шаманю, что это фб и немного театр, что на деле все не совсем так. Не надо тебе – особенно тебе – ревновать меня ни к Индии, ни к счастью, ни к Тае. А насчет детей в индийской школе... Знаешь, я когда писал про них, мне на миг примерещилось что-то вроде такой твоей возможной реакции, и тут же отогнал это нелепое виденье – со стыдом, что так подумал о тебе.

– Прости, я действительно как-то горько написала, хотя и правда думала лишь о хорошем и светлом для тебя. Просто, наверное, и впрямь иногда жжется – потому что это ведь так сокровенно, ты и сам все понимаешь. А тут еще и фейсбук время от времени показывает: семь лет назад в вашей жизни, пять лет назад... Но сны мне снятся прекрасные: мы в Индии, вместе, и мы летим, и все чудеса наши.

– Ну вот, а то я места себе найти не мог, говорил с тобой. Я тебе напишу еще.

– Напиши, напиши, с днем рожденья поздравь, например. Помнишь, как мы промахнулись с твоей датой на день?

– Что же мне пожелать тебе, нам, все эти тысячелетия спустя и уж не меньше впереди. Счастья – тебе, мне – речь, а Лёньке – то, что между нами? Пусть он будет светел и легок на странствия в себе и в мире. И чтоб обжилаась в нем наша страсть – к Индии во всем: в речи, в чувствах и в пути. И чтобы ты была радостна и не хворала, и меж нами чтобы светло и нестерпимо чутко – как в лучшие дни. С днем рожденья!

– Вот и сбывается все, о чем ты мечтал – и тигры, и лепары на расстояние руки от тебя. Снимок удивительный – и этот взгляд его... Денежки пришли на карту, спасибо тебе. Мы в Крыму, здесь хорошо, светло, новогодне, и наконец солнце. Шепни лесу слово: от меня, от нас. Я тебя слышу. С наступающим тебя, и пусть продлит все чудеса, мешок с которыми ты давно развязал.

#18. Бор

Мы зачастили на тот дальний луг и волшебный лес, жалея, что не обнаружили их раньше, оставалось у нас чуть больше недели в этом заповеднике. Вставали затемно и, быстро собравшись, шли к дамбе. Тая успевала еще накормить Кали – черную худющую суку, которую всю высасывали ее пятеро щенков. Тая варила им с вечера тюрю из остатков нашего ужина, подбрасывая туда и лакомые куски. Сметали они все, даже мелкие рыбные кости. А наутро провожали нас до тропы. У озера мы перешагивали шлагбаум с надписью «запретная зона» и, минуя единственный домик на берегу, где жил Сачин, смотритель частного рыбного хозяйства,

углублялись в джунгли. Иногда говорили Сачину, чтобы оставил нам пару рыб, которые мы заберем на обратном к вечеру.

В тот день мы долго ходили, открывая новые для нас места. И какая-то необыкновенная тихая чуткость была между нами, как и сам день. Много нильгау видели, близко подобрались к ибисам, и просто ходили по чудесному лесу, а когда меня заносило в сторону тревожных зарослей и тигриной травы, усеянной останками оленей, и Тая чуть покачивала головой, еще не решаясь меня удерживать, я спохватывался и уступал ей, шли мягко, не оголтело рискуя, и так хватало.

Помню, как меня однажды удивило, когда мы пошли на настойчивый крик оленя, зная, что он означает, и я поначалу был несдержан, лез в заросли, пока она ждала на тропе. С большой вероятностью где-то поблизости был тигр или леопард, туда и лез я, хоть и, конечно, чувствовал неуют, и, вдруг обернувшись к ней, увидев ее состояние, пересилил себя, вернулся на тропу, стараясь не отходить от нее. Она потом вспоминала эту мелочь как драгоценное.

Дошли до ее дерева, где к ней приходил олень, она осталась там, а я сказал, что ненадолго схожу к озеру. Поднялся на холм, навел камеру вдаль к берегу, приблизил, а там... Ох беда, беда! Самец нильгау, один, шел, прихрамывая на переднюю левую. Еле шел, останавливаясь через каждые два-три шага, прислушиваясь к тому, что с ним там внизу происходит. Силуэтом на фоне серебрящегося озера. Он пытался нагнуться, приблизить голову к траве, не получалось – боль в ноге не давала. И тогда он попробовал опуститься на колени. Медленно, мучительно, кренился на бок и едва удерживая равновесие, замирая, преодолевая боль, встал на колени. Коснулся губами травы. Так беспомощно, с колен, мог бы есть человек без рук. Жизнь надломилась, повисла на волоске – до первого тигра, если чудом не исцелится. Это ведь всегда рядом с силой, самодостаточностью, стоит лишь оступиться. Потому что один. Потому и тигр так осторожен, каждый шаг взвешивает. Потому что один. Да и я тут все чаще стал думать об этом. Потому что...

Нет, подожди-ка. Чуткость, говоришь, была между вами в тот день, мягко уступал, был бережен, да? А с чего началось? С первого луга, где присели перекусить. И тут лангур кричать начал – в той стороне, где в первый приезд тигра увидели. С дерева неумно кричал – низким, грудным, лающим, не оставляющим сомнений, что там, под деревом – кто? Тигр? Медведь – вряд ли. А луг был полон оленей, и нильгау только-только выходить начали. Сдуло всех – в минуту. Говорил себе: не иди туда в таких ситуациях, не нарывайся. Нет, встал, пошел. Она говорит: ты ж обещал, куда ты... Не оставляй меня тут одну, даже дерева нет, чтобы влезть, эти слишком маленькие. Не заводись, говорю, тигр – даже если появится – не сунется к тебе: ты сидишь, он идет, а не наоборот, вероятность невелика. Ему еще и луг пересечь надо, открытое пространство... Не слышит и слышать не хочет, влезла на деревце. А я пошел. Приблизился, прихватив палку по пути, и уже шагах в десяти нахожусь от того лангура, который последние крики исполнял с дерева. Вглядываюсь в просветы зарослей – не видать. И лангур стих. Ушел тигр. Если это был он. Может, и видел меня. Скорее всего. Но зачем ему все эти хлопоты, неприятности – человек ведь, не фунт изюма, что с него возьмешь. Кроме ненужной жизни. Он же не знает, что это Серджи, писатель, издалека, просто хотел пособытийствовать полминуты, снять видео для фильма про нильгау, надо ему очень, знал бы – может, и остался, а так – с чего бы. Вернулся, она уже слезла с деревца. Отворачивает лицо. И завтрак испорчен, и радость положить некуда. Ну потихоньку развиднелось потом. Чутко, мягко, бережно, говоришь? Да-да.

Встал с колен и, прихрамывая, пошел вдоль берега. И я пошел – на дальний мыс. Вдали, за рукавом озера, еще один нильгау стоит под деревом. Под тем деревом я его уж не первый день вижу, коротает полуденные часы. Нет, не поддавайся инерции речи, не коротает ведь. Отошел от стада, от женщин и детей подальше, и от себя подальше. И стоит между ними и собой. Стоит недвижно, часами, глядя вдаль, в никуда. И миры в нем ворочаются. Недоступ-

ные ни уму, ни сердцу. Ни твоему, ни его. На броне, между. В этом хайдеггеровском просвете. Не заговаривайся. Но что тут скажешь, особенно после вчерашнего. Удивительное случилось. Даже не знаешь, как подойти к этому, с какой стороны.

Сидел под деревом, ждал. Именно под тем, где он сейчас стоит. Оттуда обзор на триста градусов: за спиной лес, впереди затока и мыс вдаль, на котором большое стадо нильгау дни проводят. Тая накануне вечером сказала, что в лес не пойдет, в этот день останется дома, и я наметил это дерево, давно о нем думал, но вдвоем там засаду устраивать не дело, слишком открытое место, дерево особняком стоит на лугу, а нильгау чуткие, осторожные, на любое движение реагируют – за пару сотен метров шевеленье пальца видят. Одному еще можно рискнуть, сесть, прижавшись спиной к дереву, и не двигаться, слиться с ним, тогда они как единое с ним воспринимают, цельно, как дети.

И вот сижу, смотрю на мыс, а там что-то странное происходит: стадо нильгау вдруг снялось и движется быстрым шагом, вытянувшись вдоль берега. И к ним присоединяются олени – и пятнистые, и самбары. Прямо исход какой-то, около сотни голов уже, наверно. А впереди самец нильгау, он не один там, но этот отделился от стада и переплывает затоку, выбрался на берег на моей стороне и скрылся в лесу. Полчаса проходит, жду.

И тут – шелест в кустах, выходит, прямо рядом со мной, невозможно близко. Медленно, не дыша, подношу камеру к лицу. Он остановился. Не видит меня. Просто стоит, вслушивается. Коричневая сорока села ему на голову. Страхнул. Что-то решает, думает. Делает несколько шагов и вдруг взвизгивает в воздух. И там, над собой, как бы сам от себя отшатывается. Выпадает из своих очертаний. И смотрит вниз. А что под ним? Под ним – человек. Развоплощенный. Я.

Там сидел я, завтракал перед тем, как пересечь под это дерево. И вот он наткнулся на мой запах, след, на невидимого меня, и от этого внезапного присутствия человека, им упущенного, не замеченного, в нем произошел такой выброс вверх. Он, свидетель первых дней творенья, он, которому миллионы лет, он, носящий в себе весь этот мир, опыт, – прятнул от неожиданности.

И вот он уже на земле, отскочил в сторону, замер в смятении, отбежал иноходью на несколько шагов, снова замер. Обернулся к тому месту. Осторожно приближается к нему, остановился на расстоянии, смотрит туда.

Может, ошибаюсь? Может, не мой запах, а змея, например? Нет, он бы не возвращался.

Уходит. Обернулся у леса, долгий взгляд, прямо в меня, но не видит.

Какой день! Мне удалось это снять, и так близко. Его, наместника божьего на земле. Вот был бы я господом, встал бы передо мной выбор: кого на земле оставить в этой роли...

Перевел камеру в сторону озера. Самка нильгау от стада отделилась и пошла куда глаза глядят. А куда пошла? Вот так, по делам, просто выбыла из стада, семьи, времени. Мало ли что у нее там, может, надо одной побыть, может, драма какая...

А я зачем здесь, за тысячи километров от дома, в этом лесу – чтобы что? Нет ответа. А смысл жизни в чем? А на каком боку спать на том свете? Из тех же вопросов.

Так вот, я бы недолго думая остановил выбор на нильгау. Если уж пользоваться человеческим языком, в его облике парадоксально сошлось божественное и дьявольское. Цвет – от светло-серого до чернильного. А однажды мы с Таей видели белого единорога, но, оказалось, это свет так лег. Маленькая голова – где-то там, в небе. Мощная высокая шея, и из груди торчит клоч в виде полумесяца, заволоченного. Холка круто спускается к крестцу, хвост с кисточкой. Длинные ноги в белых носочках. И линия рта – полудемона, полуангела. В зависимости от угла света. А когда приоткрывает рот – сардоническая ухмылка. И этот странный звук, сигнал тревоги – не лай, не ржанье, а будто в горле першит и откашливается за сомкнутыми губами: б-бок, б-бок. Как бобок. И уши вращаются, ловя источник звука. А глаза – то карие, то холодный

металл. И этот характерный для него поворот головы за спину, и стоит недвижно, смотрит в даль времен.

Несколько дней перед тем наблюдал танец двух самцов, двух единорогов. Они сходились перед поединком. За царство, за семью. Женщины стояли в стороне в лучах солнца на фоне озера, горели. Чьи они будут – решит битва. На жизнь, не насмерть. И вот они сходятся. Один – темно-синий, другой – чуть светлей, с сероватым отливом. Один – король, в летах, с тонкой костью и сумрачно благородным лицом, обреченный, похож. Другой – полноватый, но крепко сбитый молодой мужлан. И вот на глазах у женщин сходятся. Но как! Набычившись, как бы вздувшись и увеличась чуть не вдвое в объеме, вытянув шею далеко вперед, придвинув передние ноги к задним, а задние к передним, чтобы все четыре сошлись по центру под животом, и передвигаясь при этом непонятно как, но не просто движась, а медленно и тягуче пританцовывая, они шли по кругу, углом глаза следя друг за другом и все сужая этот круг, выгибаясь, как в кривых зеркалах, раздувшись до тех пределов, что казалось, кожа вот-вот лопнет, и все замедляясь, чем меньше диаметр круга меж ними, тем медленней... И вдруг – молниеносно падают на колени навстречу друг другу и схлестываются головами. И бьются на коленях – лоб в лоб, и пытаются прижать головой к земле голову противника. И вскакивают, и снова с размаху валятся всей тонной веса – голова в голову. Король бежит, уносясь галопом, победитель его преследует. Скрылись. А женщины стоят, сбившись в гурт. Мужлан возвращается, подходит к ним, поворачивается спиной и начинает переминаясь с ноги на ногу, не сходя с места, все убыстряя темп, танцует победу! А они жмутся друг к другу и вслед за старшей семят вдале от него. А он танцует. Потом обернулся и пошел за ними, брать свое.

Божечки, выдохнул, спасибо тебе, что взял меня, показал все это. Хотя день был туманный, хмурый, еще сумерки опускались. А начинался он с моросившего дождика, я шел в тумане по склону холма в зарослях, присел перекурить и не успел – большая семья пятнистых оленей вышла ко мне, и не видят, пощипывают траву и с каждым шагом все ближе. Сижу не дыша. Вожак с большими замшевыми рогами прямо к моим ногам подошел и щиплет траву по сторонам от ступни, а потом запнулся, смотрит – что это? Нога человеческая, прям под носом у него. Никогда такого не видел. Поднимает голову и выдыхает в лицо мне. И стоит. Не бежит, даже не вскрикнул, настолько остолбенел, глазам не верит. И я не верю. Может, я и не человек уже? Ни запаха, ни других примет? Все это будет, и очень скоро.

О запахе. Ни у меня, ни у Таи нет его, даже когда, бывало, по несколько дней не мылись. Как небо пахнет. Или прибрежный песок нетронутый. Или лес. Вот так бы лежал, уткнувшись... нет, не туда, хотя и там тоже. И нет ему ни имени, ни запаха. Так и ей, говорит, со мной.

А пока иду к мысу – перелеском, чтобы меня видно не было, – разговариваю с собой, слова туда-сюда перекладываю, а за щекой леденец, чудесные они тут в Индии, как в детстве.

Вот сорок лет ты, мальчик, шел через не пустыню литературы. Так сказать, верой и правдой служил ей, считал делом жизни своей. И что же, куда тебя это привело? А привело в Индию, в джунгли, в безмолвие, в разговор с теми и тем, кто уж точно не литературой занимается. Странная петля образовалась. Творчество в какие-то минуты вдохновения, когда удастся поймать что и не чаял, а только снилось, это, конечно, счастье, но вот проснуться в домике Сурии, затемно собрать рюкзачок, повесить нож на пояс, взять камеру, фонарь, и отправиться в такой лес, как этот... Невозможное счастье, выше человеческих сил, именно человеческих выше, потому что литература все-таки в той местности, где человек, а здесь ты захватываешь что-то такое... Не то, что мните вы, природа, как говорил Тютчев. Хотя и он, похож, другое имел в виду.

Есть в индуизме такой термин – ванапрастха, или ванаваши. Соответствует третьей ступени жизненного цикла, когда создана семья, дом, появились внуки, реализована вся мирская программа, человек уходит в лес, посвящая себя аскезе и духовным практикам. Но практика эта особого рода – не отрешенный взгляд в себя, а совместное с лесом проживание этого сбли-

жения с божественным миром. В древних книгах есть и регламент этого лесного подвижничества: не употреблять в пищу ничего кроме диких плодов и корней, не разводить костров для обогрева, только в ритуальных целях, а священный личный огонь передать сыновьям перед уходом в лес. То есть становясь нирагнис – не имеющими огня. Этот период длится от года до двенадцати лет, затем человек, как считается, готов к последней четвертой ступени – саньясина.

Здесь, в Боре, мы с Таей съездили к одному такому отшельнику. Сурия рассказал о нем и прислал метку на гугл-карте. Отправились с Сачином на его машине, полдороги он пел за рулем, а когда в лес углубились – притих и занервничал, и чем дальше, тем больше, спросил, нет ли у меня ножа на всякий случай, беспокойно ему тут. Заблудились немного, но потом нашли хижину. Рядом с баньяном и родником. Светлая, нищая, продувная, с земляным полом, и такой же храмик Шивы рядом. Пучки травы и корней сушатся под притолокой. И небольшой запас в корзине – кулек риса, несколько щепотей чая. Мы привезли ему кое-что съестное, принял. Коренастенький, невысокий, с густой бородой, окрашенной хной понизу. Оранжевая юбка, желтый верх и пилотка на голове. И допотопные очки. Вид ученого лесовичка. Справили совместную пуджу, поговорили потом, Сачин переводил. Под семьдесят ему, точнее не помнит. Жена умерла, дети выросли, ушел в лес, пятый год здесь. Нет, одиночества не испытывает, живет по солнцу и по лесу. Мишки часто приходят. Спросил его о каких-то особых случаях. Задумался. Вспомнил. Сижу, говорит, здесь поутру, читаю мантры Шиве, и вдруг чувствую чье-то присутствие – прямо за плечом. Оборачиваюсь, а там кобра, очень большая, стоит с расправленным капюшоном и в глаза смотрит. Я мысленно продолжаю читать, но дальше наизусть не помню и только повторяю последние слова, а она все ниже опускается, легла, уползла. Хороший знак, подумал тогда, значит, правильное место здесь для Шивы. И для меня. Да, похоже, светло в хижине его жизни, хоть и свет тающий, уходящий. Присели с ним вдвоем у баньяна, помолчали, обнялись напоследок, очки его уткнулись мне в грудь, и что-то он там нашептывал прощальное.

Несколько дней назад на той стороне озера сидели с Таей на бревнышке, завтракали, а вокруг нас большущая стая лангуров, уже свыкшаяся с нашим присутствием настолько, что когда олени начали выходить, они их не предупредили, а те так доверчивы, что даже видя нас – не верят глазам, раз для лангуров нас нет, стало быть, нет вообще. Оставили рюкзачок на бревне, пересели под дерево, куда олени прямо к ногам нашим подходили, щипля траву, и, подымая голову, смаргивали наше изображение как нереальное. Смаргивали, а мы ресницы могли у них пересчитать. И вдруг два мотоцикла с лесниками выехали из низины – мы даже мотор не услышали. Залегли за бревном, а они сошли с мотоциклов, идут к озеру, рюкзачок наш прямо перед глазами у них, чуть правей, но они влево смотрят, а мы ползем вдоль бревна, я рукой нашарил рюкзак, успел, добрались до полого дерева, видно, молнией сожженного, протиснулись внутрь, следим сквозь щель за лесниками: они потоптались рядом с нами, сели на мотоциклы, уехали. А увидь они нас, и дверца в этот мир затворилась бы.

Подумал, как часто я испытывал страх в джунглях? Не внезапный испуг, а настоящий страх, долгий, изматывающий. Несколько раз, да. И в основном не в тех случаях, когда сталкивался лицом к лицу. Там не до страха, каждый миг на счету, спокойная концентрация. С виду, а что на деле внутри? Наверно, тоже не так бедово, иначе зверь это чувствует – панику, каждый неверный жест. Но все же он перед тобой, ты его видишь. А бывает сталкиваешься, а его нет, нигде нет, и одновременно он повсюду, рядом с тобой, незрим. Так было в тигрином заповеднике Умред-Кархангла, куда решил средь бела дня прогуляться, обойдя кордон лесников. Далековато зашел, солнце уже садилось, пора было возвращаться, но оказалось, что, петляя по лесу, я, похоже, слегка заблудился. Вышел на тропу, смотрю – свежий след, по размеру лапы я понял, кто это. В этом заповеднике обитал самый крупный тигр Индии – Жау. Огляделся. Тишь вокруг звенящая, зловещая, и птицы примолкли. И началось: кружу в поиске пути назад, и

всякий раз выходя на тропу – другую, в другом месте – вижу его след, только что оставленный. То есть мы оба кружим, только я его не вижу, а он меня – уж наверное. С каждой минутой смеркается. Волны страха начинают накатывать, особенно когда спина и затылок говорят тебе: обернись, вот он, быстрее! Нельзя поддаваться, иначе будешь вертеться безостановочно, но и не обернуться трудно, а вдруг это не панический импульс, а чутье? Долго длилось. Физически чувствовал его присутствие, совсем рядом, вплоть до запаха. С этим выключенным звуком леса и гаснущим светом. И непонятно, в какую сторону идти, где тот кордон и деревня, откуда пришел. Все-же добрался, выдохнул. А через несколько месяцев Яу исчез, индийские газеты писали об этом, о поисках его, но не нашлось ни тела, ни следов.

Тут в основном тиковый лес, сейчас зима, засуха, и деревья роняют листья, избавляясь от нахлебников, чтобы выстоять. Листья огромные – в пять ладоней. Висят, истончаясь, мелея, превращаясь в лесной гипюр. Тикают деревья и роняют их на землю. Контурные карты в форме листов похрустывают под ногами. А возьмешь в руку, и можно смотреть сквозь них в даль нездешнюю, в рисунки воображенья. Вот такие и остаются от истончившейся жизни – контурные карты.

Аверинцев говорит об утраченном месте человека в природе, о его неуместности. Человек не живет в мире. За пределами человеческого не живет, соприкасается с ним на своих границах, но не живет. Грузинский зоолог по имени Ясон провел два года в стае волков почти наравне с ними, спал, ел, ходил на охоту. Приняли, даже спасли жизнь, отбили у медведя. Ученый, сверхзадача. А без нее – либо-либо. Или ты человек, и нет тебе входа в этот мир с твоей речью, интеллектом, знанием о смерти, или входишь ценой утраты всего этого, становясь там – кем? Но есть территория между этими крайностями. Есть ли? Со смягчением «я», его положения, роли. Не ломки, не унижения, а хоть некоторого смещения в сторону с авансцены. Легко сказать. Но в какие-то минуты, кажется, что-то удастся, возникает это ощущение высвобожденного пространства, куда мир мог бы войти...

Или эти две перекрученные лианы – темная и светлая, в нежную обнимку, удушающую. И тянутся вверх, оплетая дерево, но оно сильное, еще держится, цветет там, в небе, но и лиана уже наматывает круги, подбирается... С невольной ассоциацией. Только мы в этой жизни – и дерево, и внутренняя лиана, которая нас, оплетая со временем, подсушивает, а мы все зеленеем – надо думать, от радости...

Поднимешь взгляд: лист над головой, один на ветке, истончившийся, и небо сквозь него затуманено. Кто ж их видит, эти листы, кто их читает? Птицы да ангелы.

Долгий это разговор и, похоже, безвыходный. Я ведь молчу в лесу – и в мыслях, и в речи. Это потом я могу все это пересказывать – себе, вернувшемуся, на том языке, на котором живем. И все эти речевые радости, образы, метафоры – это все потом, с другим собой, который помнит, что в подоплеке то, чему нет языка. Но что об этом говорить, если и сам ответить себе не могу, когда, где и как это происходило и происходит. Да, вначале, наверно, порыв, желание, но этого мало. Тут из многого складывается, постепенно, изо дня в день, годы. Черт его знает, как. Это ведь не куда-то «вниз» от человека к природе. И не вместе с ним. Иначе некуда – там все заполнено: мышлением, речью, строем чувств, и нам тут никак не посторониться, это сильнее нас на тысячулетья. Но и не надо ведь, весь этот «лес», или попросту божий мир, где-то есть в нас, только к нему уже не протиснуться сквозь человека в себе. Кажется, как это «где-то» и что значит «не протиснуться», вот же он, с нами. Кажется. Но чем мы встречаемся с ним? Мышлением, речью, человеческой психикой, всем этим сомкнутым строем, от которого никуда не денешься. Но со временем, если движешься в эту сторону, внутри тебя возникают какие-то полости, зазоры, отсветы, наживляются тропы... Нет меня в лесу – этого, вернувшегося, но иногда на привале, реже – на переходе, как сейчас, мы вот так перекидываемся словами, теребим речь. Недолго.

Не успел я отвести взгляд от этого листа, как услышал шорох в нескольких шагах от меня: маленькое лесное чудо выглянуло из-под коряги и двинулось ко мне, пройдя мимо, не обратив внимания. Дикий полосатый кот. Даже, скорей, котенок. Надо же – один, крохотный, гордый, самостоятельный! Совы тут, коршуны на деревьях, только и ждут, а он ничего не боится, прям тигр. Какой дивный день, и чувство меня не обмануло.

Так я думал, продолжая идти к мысу. Вот следы кабанчиков, рылись тут. А там термитник с меня ростом, как песочный замок. В таких кобры зимуют, рядом с крысиными змеями, как в коммуналке. Да, все же есть что-то общее у леса и письма. При всей их несовместимости. Как у нас с Таем. Когда начинаешь писать текст – вроде бы начальный импульс исходит от тебя, еще отдаленный, невнятный, приходят первые слова, строчки, а потом роли начинают исподволь меняться – и уже речь ведет тебя, а не ты ее. Что-то подобное происходит и в джунглях. Поначалу вроде бы ты идешь в лес – с каким-то планом, ожиданиями, опытом, и, если настрой между вами верный и бог милостив, лес тебя подхватывает и начинает вести, и пишет тобой, тебя. И это уже совсем другая история. Как и в письме.

Тем временем я уже почти дошел до мыса, но, увидев сухое дерево прямо на краю затоки, решил понаблюдать оттуда. На том берегу паслось стадо нильгау. На уровне груди ствол расходил на два, установил там камеру, чтобы не дрожала в руках, и прижался к дереву, глядя в видоискатель. То самое стадо, которое не соблюдает обычный распорядок, а вольно пасется с утра до вечера. И самец там. Ухаживает за избранницей. Вылизывает, пристроившись сзади, а она помахивает хвостом и идет себе, щипля траву. Стою, прильнув к стволу, за спиной у меня луг, тишь, солнце садится, но до сумерек еще далеко. Тая, наверно, в своей засаде сидит на волшебном дереве, в получасе ходьбы отсюда. И тут, увлекшись съемкой, я вдруг почувствовал за спиной чье-то незримое присутствие. Не где-то далеко за спиной, а прямо у ног. И медленно, не выключая камеру, обернулся.

Красные волки! Или как здесь их называют: дхоли. Те самые, что в «Маугли», в последней битве. Около дюжины. Бесшумно подошли, пока я стоял спиной к ним, и окружили, замкнув меня в этом полукруге, вторая половина которого – затока, теперь она за спиной. Перебегают, меняясь местами.

Ничего не понятно. Вроде бы никакой агрессии, будто меня нет для них. Но видят, конечно, еще как. Вожак, да, это, наверно, она, подошла к самым ногам и в лицо смотрит, пасть открыта, как будто смеющаяся, ничего себе зубки. И вскидывается, не сходя с места, на задних, и приседает, и вскидывается, раз за разом, да, я где-то читал, это сигнал к атаке. Но никто из стаи ее не поддерживает. Что ж происходит? Одни в траве валяются, играют, другие перебегают, бросая взгляд на меня. Я открыто стою перед ними. На дерево – не успеть, они в шаге. Даже повернуться не успеешь. Это те, кто стайей берет даже самцов нильгау, те, кто укладывает леопарда, а случается, и тигра, даром что ростом невелики. Что же это? Никакой агрессии, но и других эмоций тоже ведь. И почему на огромном лугу они выбрали именно это место и бесшумно подошли со спины, и расположились, как для отдыха... Трудно представить, чтобы на что-либо живое размером с меня была вот такая реакция. Разве что как к своему, одному из стаи. Но я же не дхоли. Необъяснимо.

Вожак отвернулась, затрусила в сторону. Стая нехотя поднялась и направилась за ней. Похоже, переходят на соседний луг. С минуту я провожал взглядом – и пошел открыто вслед за ними. Пошел, от себя не ожидая. Последние оборачивались на меня и трусили дальше, никакой реакции. Вот, выходит, отчего была тревога на том первом лугу, когда лангур кричал и всех сдуло с луга.

Вожак уводит стаю в лес. Присела, обернулась ко мне. Та, кто, глядя в лицо, подпрыгивала на месте, вскидывая передние лапы, как они делают, оценивая, принимая решение. Оно могло быть и другим...

Вернулся, Тая уже нервничала, начинало смеркаться. Значит, идти по джунглям придется в темноте. Быстро перекусили. Хотелось рассказать ей. Но не второпях. Ну, что видел, как сходил? Потом, говорю, расскажу.

На полдороге, уже в зыбком свете, перед нами снова возник этот олень-великан. Недвижно стоял поперек тропы. Остановились в шагах десяти от него. Не уходит. И не обойти его. Почесал задней ногой ухо и снова замер. Так и стоим. Тая зашла чуть правее, чтобы он видел. Кивают друг другу. Он поворачивается, уходит.

Когда добрались до первого луга, уже совсем стемнело. Тропа звериная, в завалах камней, то в лес ныряет, расплетаясь в зарослях, то вдоль озера вьется с обрывистыми откосами к нему. Выключи фонарь, говорит, не надо, мешает. Как кошка видит во тьме. И быстро идет, радуюсь ей, но про себя. Несколько раз споткнулись – то я, то она, съехали по откосу, но целы. Уже виден впереди свет в доме Сачина у рыбного хозяйства.

На тропу выскочили два кабанчика, развернулись к нам лицом и, став плечом к плечу, пугают: делают ложный бросок на пару шагов и сдают назад. И снова – на выдохе, с хрюком. Или на вдохе? У волков вой на вдохе. Станиславский, говорю, и Немирович. И зеркально повторяю их выпады. Прядают, и опять. Не верю, говорю, не верю! И иду на них – метнулись во тьму и опустили занавес.

Дошли. Присели у рыбного хозяйства перекурить с Сачином, взяли двух пангасиусов, оставленных для нас, трепещутся в кульке. Луна висит, красная. Втроем и идем – она и мы, и шорохи в кустах, шепоты, праязыки. Кали выбежала встречать, за ней ее пятеро, пытаюсь схватиться и повиснуть на ее тощем вымени, и сама как закладка в книге.

Вот оно, несравненное: вернуться из джунглей после такого дня, заварить настоящий индийский чай, сорвать с дерева кислое солнышко лайма, сесть с Таей во тьме на завалинке у дома Сурии, где ни души в округе, только дальние колотушки слышны и этот стонущий крик фермера, отпугивающего в ночи зверей с огородов: ооо-хо, ооо-хо! Но сейчас еще рано, тишь, только пенье цикад. Сидеть так, пить чай, молча, рядом, с этим огромным днем внутри. Который тоже притих, все понимая. И знать, что завтра снова пойдем в лес.

#19. Почта

– Я попробую объяснить, что происходит. наших отношений не существует, это очевидно. Но есть Лёнька. Зимой мы пытались об этом поговорить, и ты вроде бы понял и отчасти согласился. Видимо, мне показалось. Что касается меня: я пока не хочу ничего связанного с тобой. Думала, что справлюсь как-то, но нет. Тае все-таки удалось отобрать и то малое, что оставалось. А я-то считала себя уже пережившей это и повзрослевшей, чтобы какие-то новые отношения с тобой пытаться осторожно налаживать. Дружить могут на старой закваске лишь те, кто изначально не вложил всего себя в отношения, не умер и не родился заново. Боялась начать реветь, мне негде. И нельзя. Лёнька меж тем подписался давно на твой ютьюб-канал, что-то смотрит, но со мной не обсуждает. Хорошо, что ты в Чехии с Таей – и пусть уже все наладится у вас, не дело тебе одному, ни в Индии, ни вообще.

#20. Прага

Присели на скамейку на пражском кладбище у могилы Кафки. Ясный летний день, безлюдно. Молчим. Я пытаюсь как-то собрать все это воедино. Кафку с его отцом, с которым у него были трудные отношения, а теперь лежат в одной могиле в обнимку костей. Моего отца, с которым были ближе некуда, а теперь он на мюнхенском кладбище, и я не могу прийти к нему, не идут ноги, и слова знать меня не хотят – годы. Егеря Гракха, который охотился на серну в лесу Шварцвальда и сорвался в пропасть, и с тех пор ни жив ни мертв, плывет по небу на

некой барке между мирами, и Юлия, жена шкипера, всякий раз ставит у его изголовья напиток той страны, над которой они висают. Как же все это произошло? Он не может ответить. Миг невнимательности капитана, легкий поворот руля, притяжение какой-то невыразимой родины... Именно так и происходит – легкий поворот, миг невнимательности. И все, и плыву на этой барке, потеряв женщину, жизнь, Индию, и конца этому нет. И ответа не будет, где ты. Здесь, на этой скамейке, рядом с другой женщиной, напротив могилы того, кто всю жизнь писал Егеря Гракха и так и не смог закончить. Я не егерь. Прошли годы. Рядом со мной Тая, вернулась Индия... Можно сколько угодно повторять, но с этой барки уже не выбраться, как бы все ни менялось вокруг, даже таким ясным днем, с ладонью Таи на моем колене. У могилы того, кто писал о телесной возне между мужчиной и женщиной как о собаках, рывшихся друг в друга... Чтобы обрести то, что никогда не найти. Да, Тая? Мы находили. И в том костре за озером. Еще вчера. В городке Добрич в предместье Праги, где живем в доме моего друга-художника, уехавшего ненадолго в Канаду, оставив нам ключ и кота. Озеро на окраине с хвойным лесом, вошедшим в воду, где у поверхности плавают легионы карпов, перестраивая свои колонны, как души легионеров, уже не помнящих себя. А за озером высится замок, где когда-то жили художники, а теперь психбольница. Или она и была для них, не помнящих себя. Оттуда порой доносятся протяжные крики. И легионеры перестраиваются под водой. Горит костер, а мы сидим – глаза в глаза – обнаженные и такие юные, как никогда еще. Перебираем пальцами друг друга – лицо, уголок губ, ключица, подвздошная ямочка. Чуть покачиваясь и вытянув руку, как два богомола. Перебираем, боясь коснуться, а там внизу все уже происходит, и это как две жизни – вверх и вниз. Земля и небо. Мы в небе, а на земле уже все идет к концу. Она сидит на мне, полулежащем у костра, и бедра ее раскачиваются вперед-назад, а лица наши и руки – в небе. Вверху – юные мальчик и девочка, у которых это впервые, а внизу – раскачиваются на качелях мужчина и женщина, страстные, мокрые, падающие в «никогда». Костер догорал между верхом и низом, в его стихающих столах и рваненьком смехе ее, жалобно полевом.

Сидим на скамейке, и я все никак не могу собрать это воедино. Кафку, себя, Таю, прежнюю жизнь, егеря, барку, день этот ясный, тишь, двух синиц, прыгающих по могиле. Она убрала ладонь.

Вернулись в наш пригород к вечеру. Дом был большой, в трех уровнях и выходом на четвертый – с террасой, откуда видны были леса, припавшие к городку. Мрачные, хвойные, набравшие в рот сумрака и какой-то безысходной... нет, не печали, а безжизненности. Даром что в лесу этом жили олени, те самые серны, наверно, на которых охотился егерь Гракх. Там мы гуляли подолгу и молча. Даже когда разговаривали.

Трудные были дни. То близость без кожи, то глухонемая стена. Садись на велосипеды и разъезжались в разные стороны, изматывая себя педалями.

А наутро уже были в лесу, и однажды к нам подошло чудо. Обычно оно не подпускает к себе ближе нескольких десятков шагов. А это медленно шло в нашу сторону, мы присели на тропе и прижались друг к другу. А она, серна, подходила все ближе, пока чуть не коснулась нас, и высоко подняла голову с нежно-длинной шеей, уходящей прямо от нас в небо, так и замерла. Мы все сидели, щека к щеке, запрокинув головы.

В городке этом был замок, в одном из его флигелей – музей кукол и игрушек. Тая любила это, и сама много лет мастерила кукол. Даже в Индии находила особые инструменты для резьбы по дереву и возила их с собой, а когда оказывались рядом с плотниками – корабельными или деревенскими умельцами, подсаживалась к ним, присматриваясь к ремеслу и древесине. У меня это вызывало двойственное чувство. Хорошее – если о творчестве и увлеченности. И не очень – о самих куклах и связи с их потусторонностью.

В музее мы были единственными посетителями, и пока она ходила по комнатам, разглядывая экспонаты, я установил камеру в дальнем зале и сел напротив, чтобы снять видео

с рассказом о любви и смерти в этой дивной комнатке с игрушками и платишском воспитательницы на стене. В предместье Праги, в городке Добрич, за тридевять земель от Индии, о которой шел сюда и думал. Об Индии, возникшей из самосожженья любви. От отчаянья, от обесмысливания всего, что держит в жизни, от невозможности выбора. О женщине, шагнувшей в огонь, о Сати. Ее отец, великий царь Дакши, проводил один из священных ритуалов, на который приглашались самые уважаемые гости, но узнав, что его дочь полюбила Шиву, вознегодовал и отказал им в благословении. По одну сторону сердца Сати – дом, род, по другую – любовь. И невозможность выбора. И шагнула в огонь. Но за мгновение до этого душа ее в ипостаси Парвати осталась жить, а Сати сгорела в огне. И Шива, придя в отчаянье, обнял ее, Сати, обугленную, и началась в небе неистовая пляска безутешной любви и смерти. С мертвой, обезображенной возлюбленной в его объятьях. Еще немного – и все мирозданье ушло бы в эту воронку отчаянья. И тогда боги взмолились к Вишну, чтобы как-то остановить это. И он, Вишну, своей сударшана-чакрой влет рассек уже тронутое разложением тело Сати в объятьях Шивы, и пятьдесят одна часть ее рассеченного тела пала на землю, и там, где каждая из частей касалась земли, всходили сады. Этот цветущий сад и стал Бхаратом, то есть Индией.

Хорошо, что дом большой, не дойти друг до друга, когда чужесть обметывает углы. Тая на верхнем этаже, читает, наверно, или просто лежит, глядит в окно. А я внизу, в большой зале, нашел куклу почти с меня ростом, в красном платье и светлыми густыми волосами, как у Таи. А лицо с удивленной печалью. Усадил за стол, налил ей коньяку, придвинул ее руку к бокалу. Взяла. А я взял маску венецианскую с колокольцами.

Помолчи немного. Либо живешь, либо пишешь. Не на что человеку опереться внутри себя, никого там нет. И Богу не на что – потому и мир. С семьей, домом, любовью, памятью, ромашкой, стрекозой. Чтоб не сорваться. Или свобода. Ни на чем не держащаяся и никаких смыслов не ищущая. И еще какой-то набор неименуемых состояний, который дышит на зеркальце твоей жизни. В близости не выживают. Да, принцесса? И она медленно наклоняется, двигая бокал в мою сторону.

Скрипит лестница, Тая спускается, садимся ужинать, при свечах, втроем.

Нет, не было ужина на троих. Я поднялся наверх, лег рядом. Выключил свет, оставив напольную лампу. Так и лежали под разными одеялами, не зная, как повернуться – спинами ли друг к другу, лицами ли, такими родными и такими чужими, как дотронуться, чем? Протягивая руку и замирая на полпути. Притворяясь спящими. И все же, преодолевая, прижавшись. И – я не помню, что было потом, то есть между – но вот она уже стоит на четвереньках на полу у кровати, спиной ко мне, издавая блеющие звуки, изображая овечку. От неожиданности я растерялся. В этом была и пощечина, и обида, и вызов, и фарс. Она швырнула себя мне как кость, как любовь, как скотоложество. Мягко, игриво, наотмашь. Я чувствовал все растущее возбуждение, постыдное, гадкое, но и справиться с ним не мог. Глядя на нестерпимо желанное, которым она вихляла и вскидывала, изображая эту карикатурную овечку, и блеяла, блеяла, призывая меня. И я не знал, то ли смеяться от этого, то ли выть. И сквозь унижение и стыд, и обиду, и всю эту дурь, разгребая руками их, морщась и закрывая глаза, вдруг ощутил, что я уже в ней, и она все блеяла, блеяла, стихая, плача.

#21. Панхаликаджи

Ждали гостей. Продумал маршрут, чтобы показать им нетуристическую Индию, которую любил и знал. Долго готовились. Поскольку предполагал этот проект ежегодным. Обустроили с Таей кампус во дворе нашего дома в Харнай, у самой кромки океана. Купили столы, стулья, посуду, и бесконечно что-то везли из города – вплоть до туалетной бумаги и разных мелочей, привычных для людей, особенно тех, кто окажется впервые в Индии, да еще и в таком отъявленно нетуристическом краю. Добыл газовый баллон, что оказалось непросто, писал письма,

ездил в город на приемы. В единственной деревенской гостинице благоустраивал номера – стены красили, постельное белье закупали, чинили сантехнику. Даже горячую воду в один из номеров провел – для самых нежных. Хотя вода хорошо прогревается солнцем и во второй половине дня уже теплая. Заодно и у себя решили поставить электрический преобразователь холодной воды в горячую. Две недели сантехник, живший в нашей деревне, шел к нам. День за днем находясь в пути, уже на подходе, вот-вот. Чтобы установить купленный нами прибор. А когда пришел, нам нужно было отлучиться, вернулись через пару часов. Сияя, он сказал, что обнаружил фабричную ошибку в устройстве: нагретая вода шла из душа, а надо, чтобы разделялась на два крана – с холодной и горячей, не смешиваясь, как это принято в Индии. Разобрал, переделал, и вот – теперь можно мыться по-человечески: из ведра черпаком.

Нарядили наш кампус, повесили индийский флаг, все было готово. Оставалось найти помощника из местных. С английским языком, а это в деревне днем с огнем. Познакомился на рыбном рынке с Зубаиром. Безбородый худощавый мусульманин лет тридцати. С тихим голосом, печально-внимательными глазами и деликатно услужливой пластикой. Прекрасный английский. И мягкий многослойный мир за, казалось бы, амбивалентной поверхностью. Мягкий, несколько женственный даже, но не очевидный, с осторожной подсветкой изнутри. Работал он на рынке водовозом, привозя на грузовике дважды на дню цистерны с водой на рыбный рынок. С напарником, на которого работал, имея за это лишь кров в городке, еду и копейки на дешевое курево. А труд был нелегким, почти весь день стоять на жаре, разливая воду для рыбаков и их кораблей. Жил в Мумбаи, отправился пару лет назад на заработки в Эмираты, вернулся – ни жены, ни дочери, ни квартиры. Иногда навещает дочь, когда бывшая позволяет. Посидели за чаем с ним, договорились. Да, мистер, сказал он, вставая, все сделаем, а денег не надо, не ради них. Тем не менее я их ему подкидывал, хотя он и уворачивался, но я всякий раз находил попутные ненавязчивые поводы.

Пришло время ехать в аэропорт встречать группу. Накануне поздним вечером к нам на веранду поднялся радостно возбужденный Есван и сказал, что только что по телевидению выступал Нарендра Модии: все денежные купюры достоинством пятьсот и тысяча рупий с этого часа становятся недействительны. Чему ж ты радуешься, папа, сказал я, слегка холодея, поскольку днем раньше поменял всю нашу валюту на месяцы вперед и получил именно этими купюрами. Борьба с теневым капиталом, рассмеялся Есван, давно пора!

Ночь была нелегкой. В Мумбаи предстояло еще, встретив группу, поменять их деньги, рассчитанные на все наше двухнедельное путешествие – с отелями, переездами, едой и прочим. Банки и обменные лавки закрыты. И будут в ближайшие дни, а скорее, недели. Лежал, глядя в окно на океан, который в эти дни светился водорослями. Таким необычайно сильным свечением, и особенно на пенных гребнях длинных пологих волн, что казалось, там, в глубине, давно уже нежно-зеленый день, а земля лишь пещерная тень его. Тая тихонько лежала рядом, держа меня за руку. Так и уснула. Просыпаясь, трогая – здесь ли, сплю ли. Я притворялся. Она догадывалась. И, вздохнув, засыпала. Обычно у нее уходило не больше минуты на это, в отличие от меня со всем списком моих кораблей.

В аэропорт мы поехали с Зубаиром на двух машинах, чтобы к вечеру привезти гостей. Тая осталась – немного еще прибраться и приготовить ужин на всех. Ревновала меня к Зубаиру, хотя ни за что не призналась бы. И опускала его изошренно и всячески, когда мы с ней оставались наедине, а при нем – молчаливо, но уж всем своим видом. Со временем договорившись до того, что он гей и у нас с ним любовь, потому и уединяемся часто. У него, говорит, все на лице написано... на твоём, кстати, тоже.

Зубаир был не первым и не последним в этом ряду, куда попадали почти все, к кому я проявлял, как ей казалось, особую расположенность. Не говоря о женщинах, тут и в расположенности нужды не было. И если в первом случае для нее это была спокойная и как бы вскользь, но последовательная работа по унижению жертвы в моих глазах, то во втором – про-

сто рвала отношения. Приходилось латать на лету. И хорошо, если еще в пределах видимости. А то оглянуться не успеешь, а уже собрала вещи и поминай как звали. Чудом ее находил на полпути к исчезновению на полустанках и перронах. Чутьем и чудом. Прижавшись друг к другу у края утраты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.